

ЭДГАР АЛЛАН ПО

МИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ХУДОЖНИК ГАРРИ КЛАРК

Дримбук. В подарок

Эдгар Аллан По
Мистические рассказы

«Яуза»

1923

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

По Э.

Мистические рассказы / Э. По — «Яуза», 1923 — (Дримбук. В подарок)

ISBN 978-5-00155-312-0

Сборник Эдгара Аллана По (1809–1849) *Tales of Mystery and Imagination*, или «Мистические рассказы», иллюстрированный рукой Гарри Кларка, вышел в 1923 году. Многие художники пробовали свои силы на этом поприще, но именно Кларку удалось передать жуткий, пугающий пафос мистических новелл. Приближенное к оригиналу столетней давности издание содержит 24 монохромных и 8 цветных иллюстраций, а также вставки и миниатюры руки Гарри Кларка.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-00155-312-0

© По Э., 1923

© Яуза, 1923

Содержание

Рукопись, найденная в бутылке	6
Береника	14
Морелла	21
Страницы из жизни знаменитости	26
Свидание	32
Бон-Бон	40
Король Чума	49
Метценгерштейн	57
Тишина	62
Низвержение в Мальстрем	65
Лигейя	76
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Эдгар Аллан По Мистические рассказы



- © В. Рогов, наследники, 2020
- © В. Неделин, наследники, 2020
- © И. Гурова, наследники, 2020
- © Р. Облонская, наследники, 2020
- © М. Богословская, наследники, 2020
- © Ш. Маркиш, наследники, 2020
- © В. Хинкис, наследники, 2020
- © А. Старцев, наследники, 2020
- © З. Александрова, наследники, 2020
- © О. Холмская, наследники, 2020
- © ООО «Издательство «Яуза», 2021

Рукопись, найденная в бутылке

*Qui n'a plus qu'un moment à vivre,
N'a plus rien à dissimuler.*

Quinault, Atys¹

О моей родине и семье не стоит говорить. Людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить сношения со второй. Наследственное состояние дало мне возможность получить исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретенные прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов; не потому, что восхищался их красноречивым безумием, – нет, мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, в чем помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости; недостаток воображения ставили мне в упрек; и я всегда славился пирроновским складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте: я подразумеваю склонность подводить под законы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я, менее чем кто-либо, способен был променять строгие данные истины на *ignes fatui*² суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грезой больного воображения, чем отчетом о действительном происшествии с человеком, для которого грезы воображения всегда были мертвой буквой или ничем.

Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 18... году из порта Батавия, на богатом и многолюдном острове Яве, к Зондскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какою-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня.

Наш корабль был прекрасное судно в четыреста тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из малабарского тикового дерева. Он вез груз хлопка и масла с Лаккадивских островов – сверх того, запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. Вследствие небрежной нагрузки, корабль был очень валок.

Мы тихонько ползли под ветром вдоль берегов Явы, и в течение многих, многих дней ничто не нарушало однообразия путешествия, кроме мелких суденышек, попадавшихся навстречу. Однажды вечером, стоя у гакаборта, я заметил на небе странное, одинокое облако. Оно бросилось мне в глаза своим странным цветом; к тому же это было первое облако, замеченное нами после отплытия из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до солнечного заката, когда оно охватило значительную часть неба с запада на восток, в виде узкой гряды, напоминавшей низкий морской берег. Вскоре внимание мое было привлечено необычайно красным цветом луны. Море также изменилось и стало удивительно прозрачным. Я совершенно ясно различал дно, хотя лот показывал глубину в пятнадцать фатомов. Воздух был невыносимо душен и поднимался спиральными струями, как от раскаленного железа. С наступлением ночи ветер упал, и наступило глубокое, совершенное затишье. Пламя свечи, стоявшей на корме, даже не шевелилось, волосок, зажатый между большим и указательным пальцами, висел неподвижно. Как бы то ни было, капитан сказал, что не замечает никаких признаков опасности, и, так как течение относило нас к берегу, велел убрать паруса и бросить якорь. Он не счел нужным поставить вахтенных, и матросы, большую частью малайцы, беспечно растянулись на

¹ Кому осталось жить мгновенье, Тот ничего не утаит. – Кино. Атис, I, 6. (*фр.*).

² Блуждающие огни (*лат.*).

палубе, а я спустился в каюту не без дурных предчувствий. Действительно, все предвещало шторм. Я сообщил о своих опасениях капитану, но он не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Беспокойство не позволило мне уснуть, и около полуночи я снова пошел на палубу, но не успел поставить ногу на верхнюю ступеньку лестницы, как раздался громкий, жужжащий гул, подобный шуму мельничного колеса, и корабль заходил ходуном. Еще мгновение – и чудовищный вал швырнул нас набок, окатив всю палубу, от кормы до носа.

Бешеная сила урагана спасла корабль от потопления. Он наполовину погрузился в воду, но, потеряв все мачты, которые снесло за борт, тяжело вынырнул, зашатался под напором ветра и, наконец, выпрямился.

Каким чудом я избежал гибели, решительно не понимаю. Я был совсем оглушен, а когда очнулся, оказался стиснутым между ахтерштевнем и рулем. С трудом поднявшись на ноги, я дико огляделся, и в первую минуту мне показалось, что мы попали в сферу прибоя: так бешено крутились громадные валы. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который сел на корабль в минуту отплытия из Батавии. Я отозвался, крикнув изо всех сил, и он кое-как пробрался ко мне. Вскоре мы убедились, что, кроме нас двоих, никто не пережил катастрофы. Всех находившихся на палубе смыло волной; капитан и его помощники, без сомнения, тоже погибли, так как каюты были затоплены. Вдвоем мы не могли справиться с судном, тем более что были обессилены ожиданием гибели. Канат, без сомнения, лопнул, как нитка, при первом натиске урагана – иначе корабль разбился бы мгновенно. Мы неслись в море с ужасающей быстротой; волны то и дело заливали палубу. Кормовая часть сильно пострадала, да и все судно расшаталось, но, к великой нашей радости, помпы оказались неповрежденными. Ураган ослабел, утратив бешеную силу первого натиска, и мы не особенно опасались ветра, но с ужасом ожидали его полного прекращения, так как были уверены, что расшатавшееся судно не вынесет мертвой зыби. По-видимому, однако, этим опасениям не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, в течение которых мы поддерживали свое существование несколькими горстями тростникового сахара, который нам с великим трудом удалось добыть на баке, пять дней и пять ночей судно несло с невероятной быстротой, подгоняемое ветром, который, хотя и утратил свою первоначальную силу, но все-таки был сильнее всякого урагана, какой мне когда-либо случалось испытать. В первые четыре дня он дул почти все время на юг и юго-запад и, очевидно, гнал нас вдоль берегов Новой Голландии. На пятый день холод усилился до крайности, хотя ветер переменился. Солнце казалось тусклым медно-желтым пятном и поднялось над горизонтом всего на несколько градусов, почти не давая света. Облаков не было, но ветер дул с порывистым бешенством. Около полудня (по нашему приблизительному расчету) внимание наше снова привлечено было солнцем. Собственно говоря, оно вовсе не светило, а имело вид тусклой красноватой массы без всякого блеска, как будто все лучи его были поляризованы. Перед самым закатом его центральная часть разом исчезла, точно погашенная какой-то сверхъестественной силой. Только матовый серебряный обруч опустился в бездонный океан.

Мы тщетно дожидались наступления шестого дня – он не наступил ни для меня, ни для шведа. Мы оставались в непроглядной тьме, так что не могли различить ничего за двадцать шагов от корабля. Вечная ночь окружала нас, не смягчаемая даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили также, что, хотя буря свирепствовала с неослабевающей яростью, волны уже не пенились и потеряли вид прибоя. Нас поглотила зловещая ночь, непроглядная тьма, удушливая, черная пустыня! Мало-помалу суеверный ужас закрался в душу старика-шведа, да и я погрузился в безмолвное уныние. Мы предоставили корабль на волю судьбы, сознавая, что наши усилия все равно ни к чему не приведут, и, приютившись у остатка бизань-мачты, угрюмо всматривались в океан. Мы не могли следить за временем или определить, где находимся. Очевидно, нас занесло далее к югу, чем удавалось проникнуть кому-либо из прежних мореплавателей. Мы удивлялись только, что не встречаем

ледяной преграды. Между тем, каждая минута грозила нам гибелью, исполинские валы поднимались со всех сторон. Я во всю мою жизнь не видал такого волнения. Истинное чудо, что мы уцелели до сих пор.

Спутник мой приписывал это незначительности груза и старался ободрить меня, напоминая о прочности нашего корабля, но я чувствовал полную невозможность какой-либо надежды и угрюмо готовился к смерти, ожидая ее с минуты на минуту, так как чем дальше подвигался корабль, тем яростнее бушевала злобная черная пучина. То мы задыхались от недостатка воздуха, поднявшись выше птичьего полета, то с головокружительной быстротой слетали в водяную бездну, где воздух отзывался болотной сыростью, и ни единый звук не нарушал дремоты кракенов.

Мы находились на дне такой бездны, когда громкое восклицание моего товарища раздалось среди ночной темноты:

– Смотри! Смотри! – крикнул он мне в ухо. – Боже всемогущий! Смотри! Смотри!

Тут я заметил странный тусклый красноватый свет, озаривший чуть брезжущим блеском нашу палубу. Следя за ним глазами, я поднял голову и увидел зрелище, оледенившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на гребне колоссального вала, возвышался гигантский, тысячи в четыре тонн, корабль. Хотя высота волны раз во сто превосходила его высоту, он все-таки казался больше любого линейного корабля. Его громадный корпус был густого черного цвета, без всякой резьбы или украшений. В открытые люки высовывался ряд медных пушек, блестящие дула которых отражали свет бесчисленных фонарей, развешанных по снастям. Но всего более поразило нас ужасом и удивлением то обстоятельство, что он шел на всех парусах в этом водовороте бешеных валов под напором неукротимого вихря. В тот миг, когда мы заметили его, он медленно вздымался из мрачной злобной пропасти. С минуту он простоял на гребне, точно любясь собственным великолепием, потом задрожал, пошатнулся и – рухнул вниз.

В эту минуту какое-то удивительное спокойствие овладело моей душой. Я отполз, как можно дальше, на корму и бесстрашно ожидал падения, которое должно было потопить нас. Наш корабль уже перестал бороться и погрузился носом в море. Низринувшаяся громада ударилась в эту часть, уже находившуюся под водой, причем корму, разумеется, вскинуло вверх, а меня швырнуло на снасти чужого корабля.

Вероятно, меня не заметили в суматохе. Я без труда пробрался к главному люку, который оказался не запертым, и спрятался в трюм. Почему я сделал это – сам не знаю. Незыблемое чувство страха при виде этих странных мореплавателей, вероятно, было тому причиной. Я не решился довериться таким странным, сомнительным, необычным людям.

Не успел я спрятаться, как послышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо моего убежища неверной и слабой походкой. Я не мог разглядеть лица его, но общий вид его указывал на преклонный возраст или недуг. Колени его дрожали, и все тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерывающимся голосом, на непонятном языке, копаясь в углу, в груде каких-то странных инструментов и старых морских карт. Движения его представляли удивительную смесь раздражительности второго детства и величавого достоинства.

Наконец, он ушел на палубу, и я не видал его более.

* * *

Чувство, которому нет названия, овладело моей душой – ощущение, которое не поддается исследованию, не находит подобия в опыте прошлых лет и едва ли найдет разгадку в будущем. Это последнее особенно неприятно человеку с моим складом ума. Я никогда – сам знаю, что никогда – не найду удовлетворительного объяснения моим теперешним мыслям. Но

удивительно ли, что мысли эти не поддаются определению, раз они возникли из таких новых источников. Новое чувство, новая составная часть прибавилась к моей душе.

* * *

Много времени прошло с тех пор, как я вступил на палубу этого корабля, и лучи моей судьбы, кажется, сосредоточились в одном фокусе. Непонятные люди! Погруженные в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия. Прятаться мне нет смысла, потому что они не хотят меня видеть. Сейчас я прошел мимо помощника, а незадолго перед тем явился в каюту капитана и взял там письменные принадлежности, чтобы составить эти записки. Время от времени я буду продолжать их. Неизвестно, конечно, удастся ли мне передать их миру, но я, по крайней мере, сделаю попытку. В последнюю минуту я положу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

* * *

Еще происшествие, доставившее мне новую пищу для размышлений. Неужели такие явления – дело слепой судьбы? Я вышел на палубу и, не привлекая ничьего внимания, бросился на груды старых парусов. Размышляя о своей необычайной судьбе, я машинально водил дегтярной кистью по краям тщательно сложенного лиселя, лежавшего подле меня на бочонке. Лисель упал на палубу, развернулся, и я увидел, что из моих случайных мазков составилось слово «открытие».

Я познакомился с устройством корабля. Это хорошо вооруженное, но, по-видимому, не военное судно. Его оснастка, корпус, вся экипировка говорят против этого предположения. Вообще, я вижу ясно, чем он не может быть, но что он есть, невозможно понять. Не знаю почему, но при виде его странной формы, необычайной оснастки, огромных размеров и богатого запаса парусов, простого, без всяких украшений, носа и устарелой конструкции кормы, мне мерещится что-то знакомое, что-то напоминающее о старинных летописях и давно минувших веках.



«Непонятные люди! Погруженные в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия...»

* * *

Рассматривал бревна корабля. Он выстроен из незнакомого мне материала. Дерево особенное, на первый взгляд совсем не годное для постройки судна. Меня поражает его пористость – независимо от ветхости и червотчины, обычной в этих морях. Быть может, слова мои покажутся слишком странными, но это дерево напоминает испанский дуб, растянутый какими-то сверхъестественными средствами.

Перечитывая эти строки, я припомнил замечание одного старого опытного голландского моряка.

– Это верно, – говаривал он, когда кто-нибудь выражал сомнение в его правдивости, – так же верно, как то, что есть море, где корабль растёт, точно человеческое тело.

* * *

Час тому назад я смешался с толпой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, по-видимому, вовсе не замечали моего присутствия, хотя я стоял посреди толпы. Как и тот человек, которого я увидел в первый раз, все они обнаруживали признаки глубокой старости. Колени их тряслись, плечи сгорбились, кожа висела складками, разбитые старческие голоса шамкали чуть слышно, глаза слезились, седые волосы развевались по ветру. Вокруг них по всей палубе были разбросаны математические приборы самой странной, устарелой конструкции.

* * *

Упомянув выше о лиселе, я заметил, что он был свернут. С тех пор корабль продолжает свой страшный бег к югу, при кормовом ветре, распустив все паруса от клотов до унтер-лиселей, среди адского волнения, какое не снилось ни единому смертному. Я спустился в каюту, так как не мог стоять на палубе, хотя экипаж судна, по-видимому, не испытывает никаких затруднений. Мне кажется чудом из чудес, что наш громадный корабль не был поглощен волнами. Видно, нам суждено было оставаться на пороге вечности, но не переступить за него. Среди чудовищных волн, в тысячу раз превосходивших самое страшное волнение, какое мне когда-либо случалось видеть, мы скользили, как чайка, и грозные валы вздымались, точно демоны, из пучины вод, угрожая разрушением, но не смея исполнить угрозу. В объяснение этого я могу указать лишь одну естественную причину. Надо полагать, что корабль наш двигался под влиянием какого-нибудь сильного течения.

* * *

Я видел капитана лицом к лицу в его собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Случайный наблюдатель не заметил бы в нем ничего особенного, чуждого природе человеческой, тем не менее я смотрел на него со смешанным чувством удивления, почтения и страха. Он приблизительно одного со мною роста, то есть около пяти футов и восьми дюймов. Сложен хорошо, стройно, не слишком дюж, не слишком хил. Но странное выражение лица – поразительная, резкая, бьющая в глаза печать страшной, глубокой старости – возбуждает во мне чувство неизъяснимое... Лоб его не слишком изборужден морщинами, но, кажется, будто над ним отяготели мириады лет. Седые волосы его – летопись прошлого, серые глаза – сивиллины книги будущего. Каюта завалена странными фолиантами с железными застежками, попорченными инструментами, старинными, давно забытыми картами. Он сидел, подперев голову руками, и с беспокойством перечитывал какую-то бумагу, по-видимому, официальную: я заметил на ней королевскую печать. Он что-то ворчал себе под нос, как и первый моряк, которого я видел, что-то неразборчивое, брюзгливое, на незнакомом мне языке; и, хотя я сидел с ним бок о бок, голос его слышался мне точно издали.

* * *

Корабль и все, что на нем находится, запечатлены печатью старости. Люди бродят по палубе, как тени минувших веков; в глазах их отражается нетерпение и тревога, и, когда они попадают мне навстречу, озаренные фантастическим светом фонарей, мной овладевает чувство, которого я никогда не испытывал, хотя всю жизнь занимался древностями, хотя блуждал в тени развалин Баальбека, Тадмора, Персеполя, пока душа моя сама не превратилась в развалину.

* * *

Глядя вокруг себя, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от страха, когда ураган сорвал нас с якоря, то что же должен бы был чувствовать теперь, среди этого адского разгула волн и ветра, о котором не дадут никакого понятия слова «смерч» и «торнадо». Вокруг нас непроглядная черная ночь, хаос темных, без пены, валов, и только на расстоянии мили по обе стороны корабля неясно обрисовываются в зловещей тьме громады льдов – точно стены Вселенной.

* * *

Как я и думал, корабль увлечен течением, если только можно применить это название к потоку, который мчится с ревом и воем, сокрушая встречные льды, по направлению к югу, с быстротой водопада головокружительной.

* * *

Невозможно передать мой ужас – однако стремление проникнуть в тайны этих зловещих стран вытесняет даже отчаяние и примиряет меня с самой ужасной смертью. Очевидно, мы лицом к лицу с великим открытием, с тайной, разоблачение которой будет гибелью. Быть может, этот поток влечет нас к Южному полюсу. Надо сознаться, что в пользу этого предположения, при всей его кажущейся нелепости, говорит многое.

* * *

Экипаж беспокойно расхаживает по палубе, но я читаю на лицах скорее надежду, чем равнодушие и отчаяние.

Ветер, как и прежде, в корму, и так как все паруса распушены, то по временам корабль буквально взлетает над водою! О, ужас из ужасов! лед расступается направо и налево, мы бешено мчимся громадными концентрическими кругами вдоль окраины чудовищного амфитеатра, стены которого теряются во тьме. Круги быстро сужаются – мы захвачены водоворотом – и, среди рева, свиста, визга океана и бури, корабль сотрясается и – о боже! – идет ко дну!

Перевод Б. Энгельгардта



Береника

*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas
aliquantulum fore levatas.*
*Ebn Zaiat*³

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль рождается из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина – счастье, которое *могло бы сбыться* когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальнях покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится – словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной – изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося – но только кажущегося – небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгочеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда, с годами, подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то поистине странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня *поистине* самым бытием, единственным и непреложным.

³ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится, – Ибн-Зайат (*лат.*).

* * *

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я – хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она – стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей только бы и резвиться на склонах холмов, мне – все корпеть над книгами отшельником; я – ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она – беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о тенях, которые могут лечь у нее на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! – и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвивается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, сильф в чащах Арнгейма! О, наяда, плещущаяся в струях! А дальше... дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться не рассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменялось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, исказив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной была в ней подмена ее самой. Увы! разрушитель пришел и ушел! а жертва – где она? Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный переворот в душевном и физическом состоянии моей кузины, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались *трансом*, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она по большей части с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь – ибо мне велели иначе ее и не именовать – так вот, собственная моя болезнь тем временем стремительно одолевала меня и вылилась, наконец, в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, становившейся час от часу и что ни миг, то сильнее, и взявшей надо мной в конце концов непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют *вниманием*. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но, боюсь, что это и вообще задача невозможная – дать заурядному читателю более или менее точное представление о той нервной *напряженности интереса* к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь сущего пустяка.

Забывшись на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании, – такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоразмерное по поводу, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это – нечто по самой сути своей совершенно иное и непохо-

жее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением – но, как правило, отнюдь не ничтожным, – сам того не замечая, упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока, наконец, уже на излете подобного парения мысли — *чаще всего весьма возвышенного* – не оказывается, что в итоге incitamentum, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда было *самым незначительным*, хотя и приобретало из-за моего болезненного визионерства некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению как к некоему центру. Сами же эти размышления *никогда* не доставляли радости. Когда же мечтательное забытие подходило к концу, интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшейся из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главной отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на *сосредоточенность*, в то время как у обычного мечтателя она идет на *полет мысли*.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то, во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памятен трактат благородного итальянца Целия Секундуса Куриона «De amplitudine beati regni Dei» ⁴, великое творение Блаженного Августина «О граде божием» и «De came Christi» ⁵ Тертуллиана, парадоксальное замечание которого: «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est» ⁶, —надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся ничем. Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосновение с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея Гефестиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью. И хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать; но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж заметно на *физическом* ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого. В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки прохо-

⁴ «О величии блаженного Царства Божия» (лат.).

⁵ «О пресуществлении Христа» (лат.).

⁶ «Умер Сын Божий – заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес – не подлежит сомнению, ибо невозможно» (лат.).

дила она перед моими глазами, я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических мыслей. *Теперь же...* теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона ⁷, я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Была ли причиной тому только лихорадочность моего воображения, или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышавшимися? Я не мог решить. Она стояла молча, а я... я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжала сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скрыты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы. Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись *зубы* преображенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о господи, а взглянув, тут же бы и умереть!

* * *

Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кузина вышла из комнаты. Но из разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было оттуда – жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого потускнения на эмали, ни зазубринки по краям – и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их *теперь* даже ясней, чем *когда* смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот они, передо мной, и здесь, и там, и всюду, и до того ясно, что дотронуться впору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ, как в ту минуту, когда она улыбнулась мне. А дальше *мономания* моя дошла до полного исступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всецельной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они, только они со всей их неповторимостью стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их то при одном освещении, то при другом. Рассматривал то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышлял, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того, – иметь

⁷ Ибо ввиду того, что Юпитер дважды всякую зиму посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту ласковую, теплую пору колыбелью красавицы Гальционы. – Симонид.

свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Садле говорили: «Que tous ses pas etaient des sentiments»⁸; а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «que toutes ses dents etaient des idees. Des idees»⁹. Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! Des idees! ах, потому-то я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстановить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно – чтобы они достались мне.

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма – стустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а я так и сидел недвижимо все в той же уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же phantasma¹⁰, мерещившиеся мне зубы, все так же не теряла своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая, она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и растерянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица, вперемешку с плачем и горькими стенаниями множества народа. Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники... уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.

* * *

Оказалось, я в библиотеке и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после все это тоскливое время, я понятия не имел, или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью, – тем более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось; однако же все это время, все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука, мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то замешан; в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «В чем же?»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она нашему семейному врачу; но как она попала сюда, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и в конце концов взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquid tantulum fore levatas». Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом и кровь застыла в жилах?

⁸ Что каждый ее шаг исполнен чувства (*фр.*).

⁹ Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (*фр.*)

¹⁰ Призраки (*лат.*).



«То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями...»

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмущившем молчание ночи, о сбежавшихся домо-чадках, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика, и тут его речь стала до ужаса отчетливой – он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышавшей, корчащейся, – еще *живой*.

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отпечатках человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть – сила была нужна не та; выскользнув из моих дрожащих рук, она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зубоврачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.

Перевод В.Неделина



Морелла

*Auto xat auta met autou monoeises aiei on*¹¹.
Платон. Пир, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума – велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой – если я не обманываю себя – нисколько к этому причастен не был. Идеальное – разве только я себя совсем не знаю – ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены – или я глубоко заблуждаюсь – тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда... когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха – и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной.

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте, видоизмененная *paliggenesis*¹² пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, – вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. *Тождество*, называемое личным, мистер Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. *Principium individuationis, представление о личности, которая исчезает* – или не исчезает – со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

¹¹ Собой, только собой, в своем вечном единстве (*греч.*).

¹² Вторичное рождение (*греч.*).

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнестить меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время, когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к брэнной оболочке – много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, – так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

– Это день дней, – сказала она, когда я приблизился. – Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни... но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

– Я умираю, и все же я буду жить.

– Морелла!

– Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

– Морелла!

– Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности – о, такой малой! – которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить – твоё дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту, но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке. – Морелла! – вскричал я. – Морелла, как можешь ты знать это!

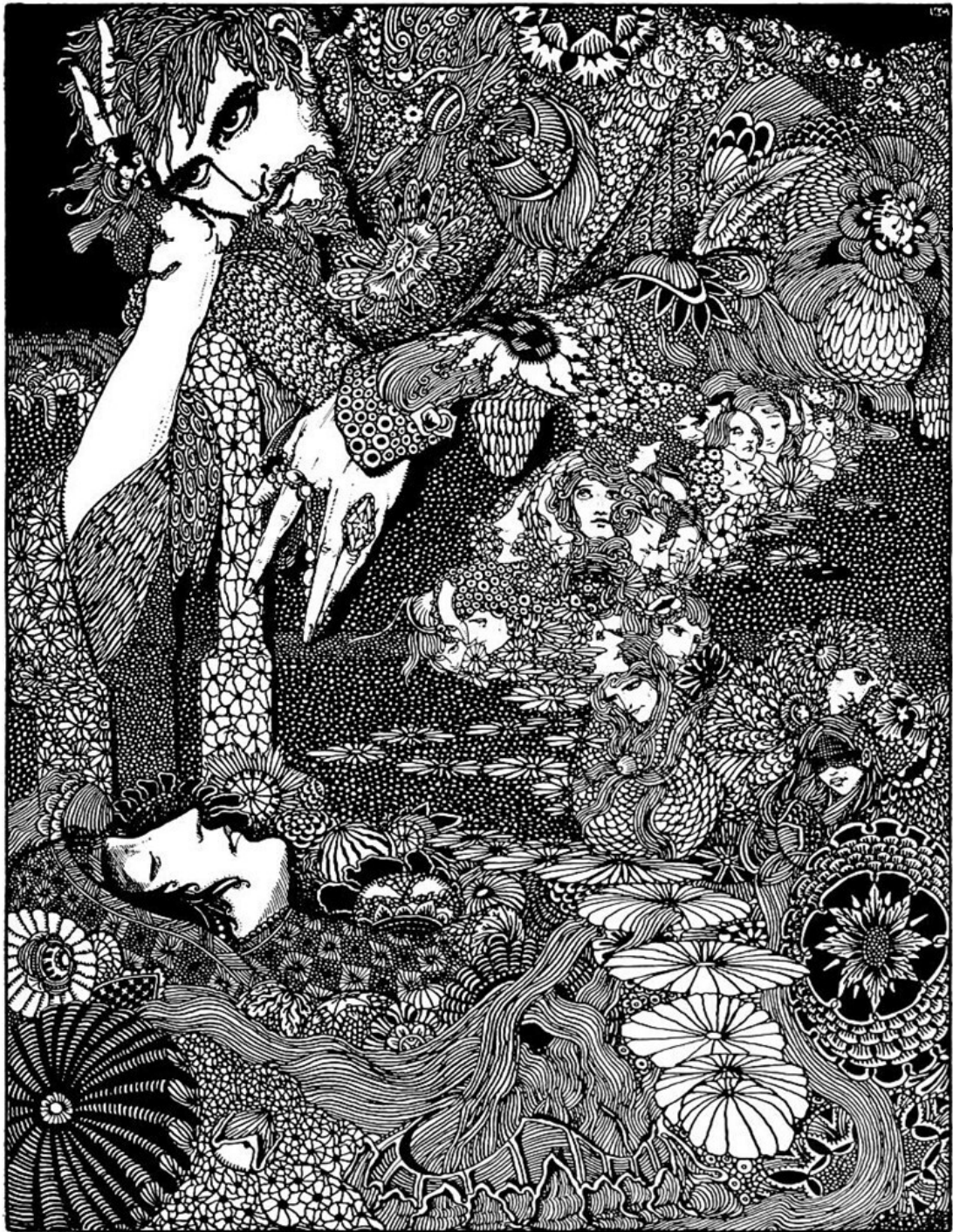
Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли, и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел

мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жадой уверовать, – можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты *сходства* с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас – червя, который *не умирал!*



«И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только – Мореллу!»

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» – отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери – говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятен-

ному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обительниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога – Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

– Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении – никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только – Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек – Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

Перевод И.Гуровой

Страницы из жизни знаменитости

*...и весь народ
От изумления разинул рот.*

Джозеф Холл. Сатиры, II, 3

Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса»¹³, ни Железная Маска¹⁴, ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде¹⁵.

Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.

К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разнюхает дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.

Когда я достиг совершеннолетия, отец мой как-то пригласил меня зайти к нему в кабинет.

– Сын мой, – спросил он, когда мы уселись, – какова главная цель твоего существования?

– Батюшка, – отвечал я, – она заключается в изучении носологии.

– Роберт, – осведомился он, – а что такое носология?

– Сэр, – пояснил я, – это наука о носах.

– И можешь ли ты сказать мне, – спросил он, – что такое нос?

– Нос, батюшка, – начал я, весьма польщенный, – пытались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей. – (Тут я вытащил часы.) – Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройтись по всем. Итак, начнем: – Нос, по Бартолину, – та выпуклость, тот нарост, та шишка, то...

– Полно, полно, Роберт! – перебил достойный старый джентльмен. – Я потрясен обширностью твоих познаний... Я прямо-таки... Ей-богу... – (Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце.) – Поди сюда! – (Тут он взял меня за плечо.) – Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться – и лучше всего тебе держать нос по ветру – вот так-так-так – (Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу.) – так что пошел вон из моего дома, и бог да благословит тебя!

Чувствуя в себе божественный *afflatus*¹⁶, я счел этот случай скорее счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.

Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.

– Чудесный гений! – сказали в «Ежеквартальном».

– Непревзойденный физиолог! – сказали в «Вестминстерском».

– Умный малый! – сказали в «Иностранном».

– Отличный писатель! – сказали в «Эдинбургском».

¹³ «Письма Юниуса» – анонимные сатирические письма, печатавшиеся в лондонском журнале «Паблик адвертайзер» в 1769–1772 гг. и резко критиковавшие английское правительство. Авторство их окончательно не установлено.

¹⁴ Железная Маска – таинственный узник времен французского короля Людовика XIV, никогда не снимавший маски с лица и умерший в Бастилии в 1703 г. Имя его было неизвестно. Согласно одной из версий, это был брат короля Людовика XIV.

¹⁵ Бели-Берда – англ. Fum-Fudge – одно из сатирических названий Англии.

¹⁶ Вдохновение (лат.).

- Глубокий мыслитель! – сказали в «Дублинском».
- Великий человек! – сказал «Бентли».
- Высокий дух! – сказал «Фрейзер».
- Он наш! – сказал «Блэквуд»¹⁷.
- Кто он? – спросила миссис Bas-Bleu¹⁸.
- Что он? – спросила старшая мисс Bas-Bleu.
- Где он? – спросила младшая мисс Bas-Bleu.

Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.

Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогинина пуделя; граф Как-Бишь-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облокачивался о спинку ее кресла.

Я подошел к живописцу и задрал нос.

- Ах, какая красота! – вздохнула ее светлость.
- Ах, боже мой! – прошепелявил маркиз.
- Ах, ужас! – простонал граф.
- Ах, мерзость! – буркнул его королевское высочество.
- Сколько вы за него возьмете? – спросил живописец.
- За его нос! – вскричала ее светлость.
- Тысячу фунтов, – сказал я, садясь.
- Тысячу фунтов? – задумчиво осведомился живописец.
- Тысячу фунтов, – сказал я.
- Какая красота! – зачарованно сказал он.
- Тысячу фунтов! – сказал я.
- И вы гарантируете? – спросил он, поворачивая мой нос к свету.
- Гарантирую, – сказал я и как следует высморкался.
- И он *совершенно* оригинален? – осведомился живописец, почтительно касаясь его.
- Пф! – сказал я и скривил его набок.
- И его *ни разу* не воспроизводили? – справился живописец, рассматривая его в микроскоп.
- Ни разу, – сказал я и задрал его.
- Восхитительно! – закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.
- Тысячу фунтов, – сказал я.
- Тысячу фунтов? – спросил он.
- Именно, – сказал я.
- Тысячу фунтов? – спросил он.
- Совершенно верно, – сказал я.
- Вы их получите, – сказал он. – Что за *virtù*!¹⁹ – И он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос.

Я снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопай, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.

Мы все знаменитости и *recherchés*²⁰.

¹⁷ «Ежеквартальном», «Вестминстерском», «Иностранном», «Эдинбургском», «Дублинском», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд» – названия крупнейших британских журналов.

¹⁸ Синий чулок (*фр.*).

¹⁹ Произведение искусства, редкость (*ит.*).

²⁰ Изысканные люди (*фр.*).

Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гиерокла, Максима Тирского и Сириана.

Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристли, Кондорсе, де Сталь и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».

Присутствовал сэр Позитив Парадокс. Он отметил, что все дураки – философы, а все философы – дураки.

Присутствовал Эстетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах; о раздвоении и прабытии души; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеомерии.

Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии и Арии; о ереси и Никейском соборе; о пюзеизме и пресуществлении; о гомузии и гомуйозии.

Присутствовал мосье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом *velouté*; телятину *à la St. Menehoult*; маринад *à la St. Florentin* и апельсиновое желе *en mosaïques* ²¹.

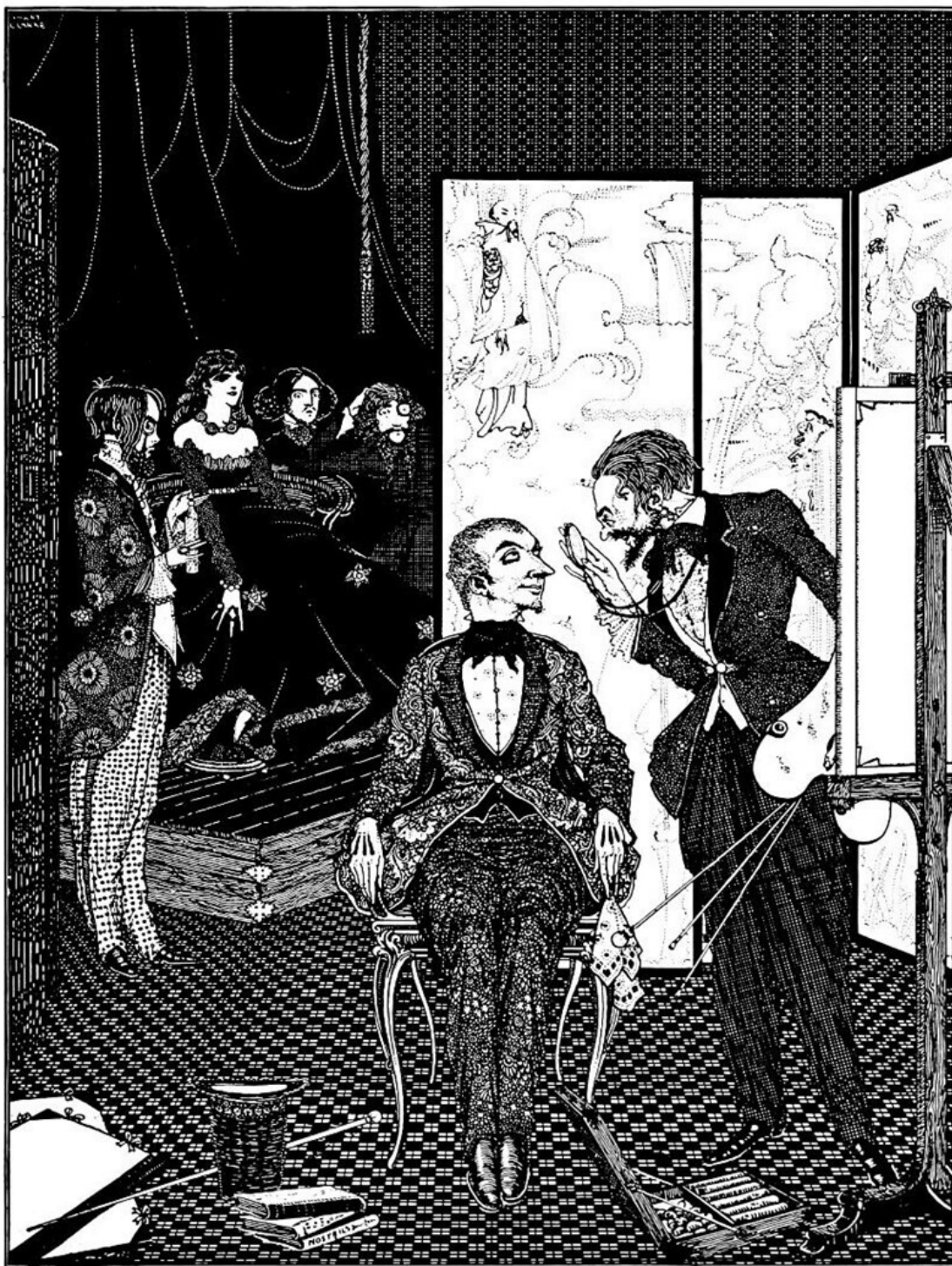
Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сен-жорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.

Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччо и Агостино; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано, о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена.

Присутствовал президент Бели-Бердского Университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой, в Египте – Бубастидой, в Риме – Дианой, а в Греции – Артемидой.

Присутствовал паша́ из Стамбула. Он не мог не думать, что у ангелов обличье лошадей, петухов и быков; что у кого-то в шестой небесной сфере семьдесят тысяч голов; и что земля покоится на голубой корове, у которой неисчислимое множество зеленых рогов.

²¹ Французские названия различных блюд.



«И его ни разу не воспроизвели? – справился живописец, рассматривая его в микроскоп».

Присутствовал Дельфинус Полиглот. Он сообщил нам, куда девались не дошедшие до нас восемьдесят три трагедии Эсхила; пятьдесят четыре ораторских опыта Исея; триста девяносто одна речь Лисия; сто восемьдесят трактатов Феофраста; восьмая книга Аполлония о сечениях конуса; гимны и дифирамбы Пиндара; и тридцать пять трагедий Гомера Младшего.

Присутствовал Майкл Мак-Минерал. Он осведомил нас о внутренних огнях и третичных образованиях; о веществах газообразных, жидких и твердых; о кварцах и мергелях; о сланце и турмалине; о гипсе и траппе; о тальке и кальции; о цинковой обманке и роговой обманке;

о слюде и шифере; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и о чем вам угодно.

Присутствовал я. Я говорил о себе; о себе, о себе, о себе; о носологии, о моей брошюре и о себе. Я задрал мой нос и я говорил о себе. – Поразительно умен! – сказал принц.

– Великолепен! – сказали его гости; и на следующее утро ее светлость герцогиня Шут-Дери нанесла мне визит.

– Ты пойдешь к «Элмаку»²², красавчик? – спросила она, похлопывая меня под подбородком.

– Даю честное слово, – сказал я.

– Вместе с носом? – спросила она.

– Клянусь честью, – отвечал я.

– Так вот тебе, жизненочек, моя визитная карточка. Могу я сказать, что ты хочешь туда пойти?

– Всем сердцем, дорогая герцогиня.

– Фи, нет! – но всем ли носом?

– Без остатка, любовь моя, – сказал я; после чего дернул носом раз-другой и очутился у «Элмака».

Там была такая давка, что стояла невыносимая духота.

– Он идет! – сказал кто-то на лестнице.

– Он идет! – сказал кто-то выше.

– Он идет! – сказал кто-то еще выше.

– Он пришел! – воскликнула герцогиня. – Пришел, голубчик мой! – И, крепко схватив меня за обе руки, троекратно поцеловала в нос. Это произвело немедленную сенсацию.

– Diavolo²³! – вскричал граф Козерогутти.

– Dios guarda!²⁴ – пробормотал дон Стиллетто.

– Mille tonnerres!²⁵ – возопил принц де Ля Гуш.

– Tausend Teufel!²⁶ – проворчал курфюрст Крофошатцкий.

Этого нельзя было снести. Я разгневался. Я резко повернулся к курфюрсту.

– Милсдарь, – сказал я ему, – вы скотина.

– Милсдарь, – ответил он после паузы, – Donner und Blitzen!²⁷

Большого нельзя было и желать. Мы обменялись визитными карточками. На другое утро, под Чок-Фарм, я отстрелил ему нос – и поехал по друзьям.

– Bête!²⁸ – сказал один.

– Дурак! – сказал второй.

– Болван! – сказал третий.

– Осел! – сказал четвертый.

– Кретин! – сказал пятый.

– Идиот! – сказал шестой.

– Убирайся! – сказал седьмой.

Я был убит подобным приемом и поехал к отцу.

– Батюшка. – спросил я, – какова главная цель моего существования?

²² «Элмак» – лондонский аристократический клуб, существовавший с 1764 г.

²³ Дьявол! (ит.).

²⁴ Боже сохрани! (исп.).

²⁵ Тысяча громов! (фр.).

²⁶ Тысяча чертей! (нем.).

²⁷ Гром и молния! (нем.).

²⁸ Дурак! (фр.).

– Сын мой, – отвечал он, – это все еще занятия носологией; но, попав в нос курфюрсту, ты перестарался и допустил перелет. У тебя превосходный нос, это так – но у курфюрста Крофшатцкого теперь вообще никакого нет. Ты проклят, а он стал героем дня. Согласен, что в Бели-Берде слава прямо пропорциональна величине носа, но – боже! – никто не посмеет состязаться со знаменитостью, у которой носа вообще нет.

Перевод В.Рогова

Свидание

*Подожди меня там! Я встречу с тобой в этой мрачной долине*²⁹.

Злополучный и загадочный человек! ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ встает в мечтах моих! снова я вижу тебя – не таким – о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты бы *должен был быть*, коротая жизнь в роскошных грезах в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции – счастливом Элизии моря, – чьи дворцы с глубокой и скорбной думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да! повторяю – каким ты бы *должен был быть*. Конечно, есть иные миры, кроме нашего, – иные мысли, кроме мыслей толпы, – иные доводы, кроме доводов софиста. Кто же решится призвать тебя к ответу? кто осудит часы твоих грез и назовет бесплодной тратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неукротимой воли?

Это было в Венеции, под аркой Ponte dei Sospiri, – я в третий или четвертый раз встретил здесь того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но помню я – ах! могу ли забыть? – глубокую полночь, мост Вздохов, красоту женщины, и Гений Романа, носившийся над узким каналом.

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пьяцце пробили пять часов итальянского вечера. Сад Кампанилы опустел и затих, почти все огни в старом Дворце дождей погасли. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому каналу. Но когда моя гондола поравнялась с устьем канала Св. Марка, дикий, истерический, протяжный женский вопль внезапно раздался среди ночной тишины. Пораженный этим криком, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его было невозможно в этой непроглядной тьме, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте направляется из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному коршуну мы тихонько скользили к мосту Вздохов, когда тысяча огней, загоревшихся в окнах и на лестницах Дворца дождей, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый неестественный день.

Ребенок, выскользнув из рук матери, упал из верхнего окна высокого здания в глубокий и мутный канал. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровище, которое – увы! – можно было найти только в пучине вод. На черных мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, не мог бы забыть. То была маркиза Афродита – кумир Венеции – воплощенное веселье – красавица красавиц – молодая жена старого интригана Ментони и мать прекрасного ребенка, первого и единственного, который теперь в глубине мрачных вод с тоской вспоминал о ласках матери и тщетно пытался произнести ее имя.

Она стояла одна. Маленькие, босые, серебристые ножки ее блеснули на черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, обвивали ее классическую головку, как завитки молодых гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой, прозрачной ткани, по-видимому, составляло ее единственную одежду; но знойный, тяжелый, летний воздух был спокоен, и ни единое движение тела, подобного статуе, не шевелило складок этого легкого, как пар, платья, падавших вокруг нее, как тяжелые мраморные одежды вокруг Ниобы. И – странное дело! – огромные, сияющие глаза ее не были обращены вниз, к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, – они устремились в совершенно другом направлении. Я думаю, что тюрьма Старой Республики – величественнейшее здание Венеции; но как

²⁹ Эпитафия на смерть жены Генри Кинга, епископа Чичестерского.

могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, под ногами ее. Та темная мрачная ниша против окон комнаты – что могло быть в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах, чего маркиза ди Ментони не видала уже тысячи раз? Нелепость! – Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения скорби своей и видят в бесчисленных отдаленных пунктах горе, которое здесь, под рукой.



«То была маркиза Афродита – кумир Венеции...»



«...я не мог пошевелиться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком...»

На много ступеней выше маркизы, под аркой водопровода, виднелась сатиropодобная фигура самого Ментони. Он брэнчал на гитаре, когда случилось это происшествие, и казался до смерти еппиуе ³⁰, указывая в промежутках игры, где искать ребенка. Ошеломленный, испуганный, я не мог пошевелиться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, бледный и неподвижный, плыл на нее в своей траурной гондоле.

³⁰ Раздосадован (фр.).

Все усилия оставались тщетными. Уже большинство самых сильных пловцов прекратили поиски, покоряясь угрюмому року. Казалось, уже мало надежды остается для ребенка (во сколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, выступила в полосу света фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю высокого спуска и ринулась в канал. Минуту спустя он стоял на мраморных плитах перед маркизой с ребенком – еще живым и не потерявшим сознания – на руках. Промокший плащ свалился к ногам его и обнаружил перед взорами изумленных зрителей изящную фигуру юноши, чье имя гремело тогда в Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обовьет его милое тело и покроет его бесчисленными поцелуями. Увы! *другие* руки приняли ребенка, – *другие* руки подняли и унесли, незамеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожали; слезы стояли в глазах ее, глазах, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: «Нежные и почти жидкие». Да! слезы стояли в ее глазах и вот – женщина очнулась, и статуя ожила. Бледное мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной румянца неудержимого; и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как тихий ветерок Неаполя пышную серебристую лилию в траве.

Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца она забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи. Какой еще причиной возможно объяснить этот румянец? – блеск этих испуганных глаз? – необычайное волнение трепещущей груди? – судорожное стискивание дрожащей руки? – руки, которая случайно опустилась на руки незнакомца, когда Ментони ушел во дворец? Какой же другой причиной можно объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощанье?

– «Ты победил, – сказала она (если только не обманул меня ропот вод), – ты победил – через час после восхода солнца мы встретимся!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце угасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, глаза его искали гондолу. Я предложил ему свою, он вежливо принял предложение. Доставши весло у шлюза, мы отправились к его квартире. Он быстро овладел собою и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в очень сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. К числу их принадлежит личность незнакомца – буду называть его этим именем. Росту он был скорее ниже, чем выше среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто *выросло* и не подходило под мое определение. Легкий, почти хрупкий облик его обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у Ponte di Sospiri, чем геркулесовскую силу, образчики которой, однако, он, как известно было, не раз проявлял без всякого усилия в более опасных случаях. Божественный рот и подбородок, удивительные, дикие, большие, влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого карего до блестящего черного цвета, густые выющиеся черные волосы, из-под которых сверкал ослепительно белый лоб необычайной ширины, – такова его наружность. Такого классически правильного лица я не видывал, разве только на изваяниях императора Коммода. Тем не менее наружность его была из тех, какие каждому случалось встречать хоть раз в жизни и затем уже не видеть более. Она не отличалась каким-либо особенным, преобладающим, бьющим в глаза выражением, которое врезается в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но, и забыв, не могли отделаться от смутного неотвязного желания восстановить его в своей памяти.

Нельзя сказать, чтобы игра страстей не отражалась в каждую данную минуту в зеркале этого лица; но, подобно зеркалу, оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти.

Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, по-видимому, очень настойчиво, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо – одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала по соседству с Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии ходили слухи, которые я считал смешным преувеличением. Но, глядя на его палаццо, я не мог поверить, чтобы у кого-либо из подданных в Европе нашлось достаточно средств на царское величие, которое сияло и блистало кругом.

Хотя солнце уже взошло, комната была ярко освещена. По этому обстоятельству, равно как и по утомленному виду моего друга, я заключил, что в эту ночь он не ложился. В архитектуре и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился о вкусе в художественном смысле слова, ни о сохранении национального стиля. Взоры переходили с предмета на предмет, не задерживаясь ни на чем – ни на grotesques греческих живописцев, ни на скульптурах лучших итальянских времен, ни на тяжелых изваяниях запустевшего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой невидимой музыки. Голова кружилась от смеси разнообразных благоуханий, поднимавшихся из странных витых курильниц, вместе с мерцающими трепетными языками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли эту сцену сквозь окна, состоявшие из цельных малиновых стекол. Отражаясь бесчисленными струями от завес, падавших с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, волны естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный, золотистый ковер.

– Ха! ха! ха!.. Ха! ха! ха! – засмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку. – Я вижу, – прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, – я вижу, что вас поражает мое помещение... мои статуи... мои картины... моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. вас опьяняет роскошь моя. Но простите, дорогой мой (*тут он заговорил самым сердечным голосом*), простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно. Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек *должен* смеяться или умереть. Умереть, смеясь – вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор... прекрасный человек был сэр Томас Мор... сэр Томас Мор, если помните, умер, смеясь. И в Absurdities Равизиуса Текстора приведен длинный список лиц, кончивших такой же славной смертью. Знаете, – продолжал он задумчиво, – в Спарте (нынешняя Палеохори), в Спарте, на запад от цитадели, в груде едва видных развалин, есть *камень* в роде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы ЛΑΣΜ³¹. Без сомнения, это остаток слова ΓΕΛΑΣΜΑ³². Теперь известно, что в Спарте были тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств! Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако, в настоящую минуту, – при этих словах движение и голос его странно изменились, – я не имею права забавляться на ваш счет. Европа не в силах произвести что-либо прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы – те просто верх модного бесвкусия. Это лучше моды, – не правда ли? Но стоит показать эту обстановку, чтобы она произвела фурор – то есть среди тех, кто может устроить такую же ценой всего своего состояния. За единственным исключением, вы единственный человек, кроме меня и моего valet, посвященный в тайны этого царского чертога, с тех самых пор, как он устроен.

³¹ Смех (*греч.*).

³² Верх (*лат.*).

Я поклонился в знак признательности, так как подавляющее впечатление великолепия, благоуханий, музыки и неожиданная странность приема и манер хозяина помешали мне выразить мое мнение в виде какой-нибудь любезности.

– Вот, – продолжал он, вставая, опираясь на мою руку и обводя меня вокруг комнаты, – вот картины от Греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них выбраны без справок с мнениями эстетиков. Вот несколько chefs d'oeuvres неведомых талантов, вот неоконченные рисунки людей, прославленных в свое время, чьи имена проницательность академиков предоставила безвестности и мне. Что вы скажете, – прибавил он, внезапно обернувшись ко мне, – что вы скажете об этой Мадонне?

– Это настоящий Гвидо, – отвечал я со свойственным мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудную картину. – Настоящий Гвидо! Как могли вы достать ее? Бесспорно, она то же в живописи, что Венера в скульптуре.

– А! – сказал он задумчиво, – Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? – она, – в уменьшенном виде и с золотистыми волосами. Часть левой руки (*здесь голос его понизился до того, что стал едва слышимым*), и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении правой руки – квинтэссенция жеманства. Аполлон тоже копия, – в этом не может быть сомнения, – я, слепой глупец, не могу оценить хваленое вдохновения Аполлона. Я предпочитаю – что делать? – предпочитаю Антиноя. Кто это – Сократ, кажется, – заметил, что скульптор находит свое изваяние в глыбе мрамора. В таком случае Микеланджело только повторил чужие слова, сказав:

*Non ha l'ottimo artista aloun concetto
Che un marmo solo in se non circonscriva* ³³.

Замечено или следует заметить, что манеры истинного джентльмена всегда отличаются от манер вульгарных людей, хотя не сразу можно определить, в чем заключается различие. Находя, что это замечание вполне прилагается к внешности моего незнакомца, я почувствовал в это достопамятное утро, что замечание еще более подходит к его моральному темпераменту и характеру. Я не могу определить духовную черту, так резко отличавшую его от прочих людей, иначе, как назвав ее *привычкой* к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему далее его обыденные действия, вторгавшемуся в шутки его и переплетавшемуся с порывами веселья – как те змеи, что расползаются из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса.

Я не мог не заметить, однако, в быстром разговоре его, то шутиливом, то торжественном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного *возбуждения*, которое осталось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко остановившись в середине фразы и, очевидно, позабыв ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-нибудь посетителя, или внимал звукам, раздававшимся только в его воображении.

В одну из таких минут рассеянности или задумчивости я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициана, «Орфея», лежавшую подле меня на оттоманке, и попал на место, подчеркнутое карандашом. Это было заключение третьего акта, заключение, хватающее за душу, которого ни один мужчина не прочтет без волнения, ни одна женщина без вздоха. Вся страница была испятнана слезами, а на противоположном чистом листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком, до того непохожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку:

³³ Нет у лучшего художника такого замысла, Которого бы не скрывал в себе сам мрамор (*ит.*).

«Ты была для меня всем, моя любовь, о чем томила душа моя. Зеленый остров в море, любовь моя, источник и алтарь, обвитый чудесными цветами и плодами, – и все цветы были мои.

О, мечта слишком яркая. О, ослепляющая надежда, восставшая на мгновение, чтобы исчезнуть. Голос будущего зовет: “Вперед!”, но к прошлому (мрачная бездна) прикован дух мой – неподвижный, безгласный, подавленный ужасом!

Увы! для меня угас свет жизни. Никогда... никогда... никогда... (говорит величавое море прибрежным пескам) не расцветет пораженное молнией дерево, не воспарит раненый на смерть орел.

Теперь дни мои превратились в бред, а мои ночные грезы – там, где сверкают черные глаза твои, где ступают ножки твои, в воздушных плясках под небом Италии! Увы! будь проклят день, когда ты ушла от любви к сановной старости и преступлению на недостойное ложе – ушла от меня, из нашей туманной земли, где роняют слезы серебристые ивы».

Что стихи были написаны по-английски – я не знал, что автор знаком с этим языком – меня ничуть не удивило. Он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему; но меня поразила дата, отмеченная на листке. Стихи были написаны в Лондоне, потом дата выскоблена, – однако не так чисто, чтобы нельзя было разобрать, Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, потому что я помнил ясно один наш прежний разговор. Именно на мой вопрос – встречался ли он в Лондоне с маркизой Ментони (она провела в этом городе несколько лет до замужества), мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу, кстати, что я не раз слышал (хотя и не придавал веры такому невероятному утверждению), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию *англичанин*.

* * *

– Тут есть одна картина, – сказал он, не заметив, что я развернул трагедию, – тут есть одна картина, которой вы еще не видали. – С этими словами он отдернул занавес, и я увидел портрет во весь рост маркизы Афродиты.

Человеческое искусство не могло бы с большим совершенством передать эту нечеловеческую красоту. Я увидел тот же воздушный образ, что стоял передо мною в прошлую ночь на ступенях Дворца дождей. Но в выражении лица, озаренного смехом, сквозила (непонятная странность!) чуть заметная скорбь, неразлучная с совершенством прелести. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз на какую-то необычайной формы урну. Маленькая прекрасная нога чуть касалась земли, а в искрящейся атмосфере, оттенявшей ее красоту, светила едва заметная пара крыльев. Я взглянул на моего друга, и выразительные слова Чепмана в Bussy d'Ambois задрожали на моих губах:

Вот он стоит подобно римской статуе!

И будет стоять, пока смерть не превратит его в мрамор!

– Вот что, – сказал он, наконец, обернувшись к столу из массивного серебра, украшенного финифтью, на котором стояли фантастические чарки и две большие этрусские вазы, такой же странной формы, как изображенная на картине, и наполненные, как мне показалось, иоганнисбергером.

– Вот что, – сказал он отрывисто, – давайте-ка выпьем. Еще рано, но что за нужда – выпьем. Действительно, еще рано, – продолжал он задумчивым голосом, когда херувим с тяжелым золотым молотом прозвонил час после восхода солнца, – действительно, еще рано, но что за беда, выпьем! Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампы и светильники

так ревностно стараются затмить! – И, чокаясь со мною, он выпил один за другим несколько бокалов.

– Грезить, – продолжал он, возвращаясь к своей обычной манере разговаривать, – грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и устроил для себя царство грез. Мог ли я устроить лучшее в сердце Венеции? Вы видите вокруг себя сбор всевозможных архитектурных украшений. Чистота ионийского стиля оскорбляется допотопными фигурами, и египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но эффект слишком тяжел лишь для робкого духом. Особенности места, а тем более времени – пугала, которые отвращают человечество от созерцания великолепного. Для меня же нет убранства лучшего. Как пламя этих причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне, и безумие убранства подготавливает меня к диким видениям в стране настоящих грез, куда я отхожу теперь. – Он остановился, опустил голову на грудь и, по-видимому, прислушивался к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского: – «Подожди меня там! Я встречу с тобой в этой мрачной долине!»

Затем, побежденный силой вина, упал на оттоманку.

Быстрые шаги послышались на лестнице, и кто-то сильно постучал в дверь. Я поспешил предупредить тревогу, когда паж Ментони ворвался в комнату и произнес, задыхаясь от волнения:

– Госпожа моя! – Госпожа моя! – Отравилась! – Отравилась! – О, прекрасная, – о, прекрасная Афродита!

Пораженный я кинулся к оттоманке, чтобы разбудить спящего. Но члены его оцепенели, губы посинели, огонь лучезарных глаз был потушен *смертью*. Я отшатнулся к столу – рука моя упала на треснувший и почерневший кубок – и ужасная истина разом уяснилась моему сознанию.

Перевод Б. Энгельгардта



Бон-Бон

*Когда я в глотку лью коньяк,
Я сам учней, чем Бальзак,
И я мудрее, чем Пибрак,
Мне ничем любой казак.
Пойду на рать таких вояк
И запихну их в свой рюкзак.
Могу залезть к Харону в бак
И спать, пока везет чудак,
А позови меня Эак,
Опять не струшу я никак.
И сердце тут ни тик, ни так,
Я только гаркну: «Сыть табак!»³⁴*

Французский водевиль

Что Пьер Бон-Бон был ресторатор с необыкновенными достоинствами, этого, я полагаю, не решится отрицать никто из людей, посещавших маленькое кафе в Cul-de-Sac Лефевбр в Руане. Что Пьер Бон-Бон был не менее выдающийся философ своего времени, это еще неоспоримее. Без сомнения, его паштеты были безупречны; но какое перо способно воздать должное его эссе о природе, его мыслям о душе, его наблюдениям о разуме? Если его омлеты, его фрикандо были неоценимы, то какой литератор его эпохи не заплатил бы за «идеи Бон-Бона» вдвое больше, чем за все «Идеи» всех остальных «ученых», вместе взятых? Бон-Бон рылся в таких библиотеках, где никто другой не рылся, прочел столько, что никто другой не мог бы даже представить себе такой груды книг, понял больше, чем всякий другой считал возможным понять; и хотя в эпоху его славы нашлись в Руане авторы, утверждавшие, будто «его высказывания не обладают чистотой слога Академии, ни глубиной Лицея», хотя его доктрины были поняты далеко не всеми, но отсюда вовсе не следует, что их было трудно понять. Я думаю, что многие считали их темными именно вследствие их очевидности. Бон-Бону сам Кант обязан своей метафизикой. Он не был ни платоником, ни, строго говоря, аристотелианцем; он не тратил, подобно новейшему Лейбницу, драгоценных часов, которые могли бы быть употреблены на изобретение какого-нибудь фрикасе, на анализ какого-нибудь ощущения, – он не тратил их на дерзкие попытки примирить масло и воду этических споров. Вовсе нет. Бон-Бон был иониец – Бон-Бон был также италиец. Он рассуждал *a priori*³⁵, он рассуждал также *a posteriori*³⁶. Его идеи были врожденные или, наоборот, приобретенные. Он верил в Георгия Трапезундского, верил в Виссариона. Бон-Бон был рьяный бон-бонист.

Я говорю о философе как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых душа помещается в животе. Во всяком случае греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду. Говоря это, я отнюдь не думаю

³⁴ Перевод с французского В. Левика. Цит. по: По, Эд. А. Полное собрание рассказов. – М.: Наука, 1970. – 794 с. – С. 31.

³⁵ На основании ранее известного (*лат.*).

³⁶ Исходя из опыта (*лат.*).

намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, – какой же великий человек не имел их тысячи? – если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать.

Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась – какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах, – и торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности.

Такая странная особенность в любую эпоху возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи; рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге; приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей.

У нашего философа были и другие слабости, но вряд ли стоит разбирать их серьезно. Так, например, люди глубокого ума в большинстве случаев обнаруживают пристрастие к бутылке. Является ли это пристрастие причиной или доказательством глубины ума – вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько мне известно, считал этот предмет недоступным детальному исследованию – я с ним согласен. Но и отдавая дань этой истинно классической склонности, ресторатор не упускал из вида тонкого вкуса, отличавшего его эссе и его омлеты. Свой час был для бургундского, свое время для Cotes du Rhone. В его глазах сотерн относился к медоку, как Катулл к Гомеру. Он придумывал силлогизм, прихлебывая сен-пере, разбирал доказательство за клодвужо, топил теорию в потоке шамбертена. Хорошо было бы, если бы то же самое чувство меры сопутствовало его склонности к торговым сделкам, о которой я уже упоминал, но этого не было. Эта особенность философа Бон-Бона получила с течением времени характер преувеличенный и мистический и, по-видимому, не чуждый *diablerie*³⁷ его излюбленных германских авторов. Переступая порог маленького кафе в Cul-de-sac Лефевр в Руане, в эпоху нашего рассказа, – вы входили в *sanctum* гениального человека. Бон-Бон был гениальный человек. Любой повар в Руане подтвердил бы вам, что Бон-Бон был гениальный человек. Даже его Кошка знала это и не позволяла себе играть с собственным хвостом в присутствии гениального человека. Его огромный водолаз тоже понимал значение этого факта и при виде Бон-Бона обнаруживал сознание собственного ничтожества почтительным поведением и смиренным опусканием хвоста. Может быть, впрочем, это почтение возбуждала сама наружность метафизика. Внушительная наружность действует и на животных; и я охотно соглашусь, что многие черты внешности ресторатора должны были действовать на воображение четвероногих. Есть особенное величие в наружности маленького гиганта – если позволено будет употребить такое двусмысленное выражение, – величие, которого не могут сообщить одни крупные размеры тела. И хотя Бон-Бон был всего трех футов ростом, хотя головка у него была очень маленькая, зато при взгляде на его круглый живот вы испытывали впечатление великолепия, почти граничившего с возвышенным. При виде такого живота люди и собаки должны были испытывать крайнее уважение к совершенным познаниям Бон-Бона, а громадные размеры живота указывали на подходящее помещение для его бессмертной души.

³⁷ Чертовщина (*фр.*).

Я мог бы, если бы мне вздумалось, распространиться о его костюме и других деталях, относящихся к внешности метафизика. Я мог бы сообщить вам, что волосы нашего героя были острижены под гребенку и увенчаны конусообразным белым фланелевым колпаком с кисточками; что его камзол цвета зеленого горошка отличался по фасону от камзолов, носимых обыкновенными рестораторами его времени, что рукава его были несколько просторнее, чем требовала тогдашняя мода, что обшлаги не были сделаны по тогдашнему варварскому обычаю из материи одного цвета и качества с остальным платьем, а из цветного генуэзского бархата; что пунцовые туфли с курьезными узорами можно бы было принять за японские, если бы не изящно заостренные носки и яркие краски вышивок и узоров; что его панталоны были из желтой материи вроде атласа, называемой *aimable* ³⁸, что его халат небесно-голубого цвета с красными вышивками вроде капота колыхался на его плечах, как туман утром, и что его *tout ensemble* ³⁹ вызвал со стороны Беневенуты, флорентийской импровизаторши, следующее замечание: «Трудно сказать, райская ли птица Пьер Бон-Бон или воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, распространиться обо всех этих деталях, если бы мне вздумалось, но я не хочу; предоставим подробности чисто личного свойства авторам исторических романов; они не соответствуют моральному достоинству моего сообщения.

Я сказал: «Вступая в кафе в *Cul-de-Sac* Лефевбр, вы входили в святая святых гениального человека», но только гениальный человек мог бы оценить достоинства этого святилища. Вывеска в виде огромного фолианта висела над входом. На одной стороне этого тома была нарисована бутылка, на противоположной – *rate*. На корешке большими буквами было написано: «*Oeuvres de Bon-Bon*» ⁴⁰. Так изящно оттенялась двойная профессия хозяина.

Переступив порог, вы могли окинуть взором всю внутренность здания. Кафе состояло из одной длинной и низкой комнаты старинной архитектуры. В углу стояла кровать метафизика. Занавеси и кушетка на греческий манер придавали этому уголку классический и комфортабельный вид. В противоположном по диагонали углу помещались, в полном семейном согласии, принадлежности кухни и библиотека. Груда новейших трактатов по этике лежала подле кастрюльки для смешивания соусов. Тома германских моралистов покоились рядом с рашпером, вилка для поджаривания хлеба бок о бок с Евсевием, Платон поместился на сковороде, куча рукописей – на вертеле.

В других отношениях кафе *de Bon-Bon* не отличалось существенно от обыкновенных трактиров того времени. Огромный камин разевал свою пасть прямо против двери. Направо от камина, в открытом буфете, виднелась чудовищная армия бутылок с ярлыками.

Здесь-то в морозную зиму, около двенадцати часов ночи, Пьер Бон-Бон, прослушав комментарии соседей по поводу его странной наклонности, здесь-то, говорю я, вытолкав гостей за дверь и с ругательством затворив за ними дверь, Пьер Бон-Бон, в довольно сердитом настроении духа, кинулся в мягкое кожаное кресло перед ярко пылавшим огнем.

Была страшная ночь, одна из тех ночей, которые случаются раз или два в столетие. Снег валил, стены тряслись от ветра, который, пробираясь сквозь щели и трубы, колыхал полог кровати философа и нарушал порядок его кастрюль и бумаг. Огромная вывеска в виде фолианта, висевшая снаружи, страшно скрипела и стонала, несмотря на крепкие дубовые стойки.

Как я уже сказал, метафизик занял свое обычное место перед камином в не особенно миролюбивом настроении духа. Ряд неприятностей, случившихся в этот день, нарушил его обычную ясность. Задумав *des oeufs a la Princesse* ⁴¹, он нечаянно состряпал *omelette a la*

³⁸ Приятный (*фр.*).

³⁹ Весь комплект (*фр.*).

⁴⁰ «Сочинения Бон-Бона» (*фр.*).

⁴¹ Глазунья а ля принцесса (*фр.*).

Reine ⁴²; открывая новый этический принцип, опрокинул тушеное мясо; и в довершение всего, ему помешали заключить одну из тех удивительных сделок, которые всегда были его главной утехой. Но независимо от этих неприятностей он не мог не испытывать нервного беспокойства, которое всегда возбуждает бурная ночь. Подозвав поближе своего огромного черного водолаза, о котором мы уже говорили, и беспокойно поворочавшись в кресле, он невольно окинул подозрительным взором отдаленные уголки комнаты, непроглядную тьму которых не мог разогнать даже яркий огонь камина. Кончив этот осмотр, цель которого оставалась непонятной для него самого, он придвинул к себе столик, заваленный бумагами и книгами, и вскоре углубился в просматривание объемистой рукописи, которая должна была завтра отправиться в печать.

Он прозанимался таким образом несколько минут, как вдруг кто-то прошептал плаксивым тоном:

– Мне не к спеху, господин Бон-Бон.

– Черт! – воскликнул наш герой, вскакивая, опрокидывая стол и осматриваясь в изумлении.

– Совершенно верно, – спокойно ответил тот же голос.

– Совершенно верно? Что такое совершенно верно? Как вы попали сюда? – воскликнул метафизик, и взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину его кровати.

– Я уже сказал, – продолжал незнакомец, не отвечая на вопрос, – я уже сказал, что время терпит, что дело, по поводу которого я взял на себя смелость явиться к вам, не особенно спешное, словом, что я могу подождать, пока вы кончите свое «Толкование».

– Мое «Толкование»? Вот тебе и раз! Почему вы знаете? Кто вам сказал, что я пишу «Толкование»? Господи боже мой!

– Тсс... – прошипел незнакомец и, быстро соскочив с постели, сделал шаг к нашему герою, причем железная лампа, привешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.

Изумление философа не помешало ему рассмотреть костюм и наружность неожиданного гостя. Очертания его фигуры, чрезвычайно тощей, но гораздо выше среднего роста, выступали очень резко благодаря потертой черной паре, плотно охватывавшей тело, но сшитой по моде прошлого столетия. Эта одежда, очевидно, предназначалась для особы гораздо меньшего роста, чем ее настоящий владелец. Руки и лодыжки высывались из рукавов и штанин на несколько дюймов. Пара блестящих пряжек на башмаках противоречила нищенскому виду остального костюма. Голова была без шляпы и совершенно лысая, за исключением затылка, на котором волосы были собраны в виде длинной косицы. Синие очки защищали его глаза от света и вместе с тем не позволяли нашему герою рассмотреть их цвет и величину. Рубашки на нем и признаков не было; зато был грязный белый галстук, аккуратно повязанный вокруг шеи, с длинными концами, придававшими его фигуре (хотя я думаю – неумышленно) вид духовной особы. Впрочем, и другие особенности его костюма и манер могли внушить ту же мысль. За левым ухом у него торчал, как у современных конторщиков, инструмент, который древние называли стилем. Из кармана на груди выглядывала черная книжка со стальными застёжками. Случайно или нарочно книжка эта была обращена верхней стороной наружу, так что всякий мог прочесть на переплете заглавие белыми буквами: «Rituel Catholique» ⁴³. Физиономия его отличалась интересной свинцовой, даже мертвенной бледностью. Высокий лоб был изборожден морщинами. Углы рта опускались вниз с выражением самого покорного смирения. Молитвенно сложенные руки, общее выражение елейной святости невольно располагали в его пользу. Последняя тень гнева сбежала с лица метафизика, и, осмотрев с ног до головы посетителя, он приветливо пожал ему руку и предложил стул.

⁴² Омлет а ля королева (фр.).

⁴³ «Католический требник» (фр.).

Было бы, однако, величайшей ошибкой приписывать эту внезапную перемену в настроении духа философа какой-нибудь из тех причин, которые обыкновенно вызывают подобные действия. Насколько я знаю Пьера Бон-Бона, он менее чем кто-либо способен был поддаваться обманчивой внешности. Такой тонкий наблюдатель людей и вещей не мог не раскусить с первого взгляда, что за гость явился к нему. Замечу, что нога посетителя была очень странной формы, что он держал над головой необычайной величины шляпу, что задняя часть его панталон как-то странно вздувалась, и фалды фрака заметно шевелились. Судите же сами об удовольствии нашего героя, когда он увидел себя в обществе особы, к которой всегда питал глубочайшее почтение. Он был, однако, слишком тонкий дипломат, чтобы выдать свои подозрения хоть малейшим намеком. В его намерения вовсе не входило показать, что он сознает высокую честь, которой удостоился так неожиданно; ему хотелось завлечь гостя в разговор и выудить у него какие-нибудь важные этические идеи, которые могли бы, найдя место в предполагаемом издании, просветить человечество и обессмертить автора, – идеи, которых смело можно было ожидать от посетителя помня о его преклонном возрасте и всем известной опытности в вопросах морали.

Обуреваемый столь хитроумным планом, наш герой и предложил гостю стул, подкинул в огонь вязанку хвороста, расставил на столе несколько бутылок игристого вина. Затем уселся на кресле *vis-a-vis* с посетителем и ожидал, пока тот начнет беседу.

– Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон, – сказал гость, – ха! ха! ха! – хе! хе! хе! – хи! хи! хи! – хо! хо! хо! – ху! ху! ху! – И, отбросив личину набожности, разинул рот до ушей, обнаружив ряд острых, страшных зубов, закинул назад голову и закатился долгим, громким, бесстыдным, оглушительным хохотом. Черная собака, припав на задние лапы, весело принялась вторить, а пестрая кошка, выгнув дугою спину, завизжала в отдаленнейшем углу комнаты.

Философ молчал: он был слишком светский человек, чтобы смеяться, подобно собаке, или визгом обнаруживать неприличный испуг, подобно кошке. Надо сознаться, он несколько удивился, заметив, что цвет и смысл белой надписи «*Rituel Catholique*» на книжке в кармане гостя мгновенно изменились, и на месте прежнего заглавия засияли ярко-красными буквами слова: «*Registre des Condamnes*»⁴⁴. Этим поразительным обстоятельством объясняется несколько смущенный тон философа, когда он ответил на замечание гостя:

– Видите ли... правду сказать... мне кажется... мне сдается... что вы прокл... то есть... я думаю... я подозреваю... у меня явилась смутная... да, смутная мысль... о высокой чести...

– Ох!.. ух!.. да!.. ладно!.. – перебил его величество, – довольно... я понимаю в чем дело... – Говоря это, он снял очки, тщательно вытер стекла рукавом и спрятал в карман.

Если происшествие с книгой поразило Бон-Бона, то теперь его изумление достигло крайних пределов. Он с живейшим любопытством взглянул в глаза своему гостю и убедился, что они вовсе не черные, как он ожидал, и не серые, как можно бы было думать, и не карие, и не голубые, и не желтые, и не красные, и не пурпуровые, и не белые, и не зеленые, и вообще никакого из цветов, имеющих на небеси горе, или на земле низу, или в водах под землею. Короче сказать, Пьер Бон-Бон убедился, что у его величества вовсе нет глаз и, по-видимому, никогда не было, так как на тех местах, где они обыкновенно помещаются, оказалась совершенно гладкая кожа.

Разумеется, метафизик не преминул осведомиться о причине столь странного явления, и ответ его величества отличался прямоотой, достоинством и убедительностью.

– Глаза! Любезный Бон-Бон, – глаза, говорите вы? О! А! Понимаю! Нелепые рисунки, распространенные среди публики, дали вам совершенно ложное представление о моей наружности, правда? – Глаза!.. Да! Глаза, Пьер Бон-Бон, должны находиться на своем месте, то есть в голове. Вам тоже необходимы эти оптические аппараты, но, уверяю вас, мое зрение острее

⁴⁴ «Реестр обреченных» (*фр.*).

вашего. Вон я вижу кошку в углу – хорошенькая кошечка, взгляните на нее, взглядитесь хорошенько! Что же, Бон-Бон, видите вы ее мысли, мысли? Я подразумеваю идеи, размышления, которые зарождаются под ее черепом? Ведь нет, не видите? Она думает, что мы восхищаемся длиной ее хвоста и глубиной ее ума. Сейчас только она решила, что я в высшей степени представительная духовная особа, а вы самый поверхностный из метафизиков. Как видите, я не вовсе слеп; но при моей профессии глаза, о которых вы говорите, были бы только помехой; они каждую минуту рисковали бы быть выколотыми железным шестом или вилами для поджаривания грешников. Но вам эти оптические приборы необходимы. Ну и пользуйтесь ими, Бон-Бон, как можно лучше; мое же зрение – душа.

Тут посетитель взял бутылку, налил стакан Бон-Бону и попросил его пить без всякого стеснения и вообще быть как дома.

– Умную книгу написали вы, Пьер, – продолжал его величество, дружески хлопнув по плечу нашего приятеля, который меж тем осушил стакан, который налил ему гость. – Умную книгу вы написали, честное слово. Она мне очень понравилась. Изложение, впрочем, могло бы быть лучше, и многие из ваших взглядов напоминают Аристотеля. Этот философ был моим закадычным другом. Я любил его за невозможный характер и смелое вранье. Во всех его писаниях есть только одна верная мысль, да и ту я подсказал ему, сжалившись над его глупостью. Полагаю, Пьер Бон-Бон, вы знаете, о какой возвышенной моральной истине я говорю.

– Не могу сказать, чтобы я...

– В самом деле! Так вот: это я надоумил его, что, чихая, люди высмаркивают из носу лишние мысли.

– Без сомнения, это – уэ (*икает*) – совершенно верно, – сказал метафизик, наливая себе еще стакан и предлагая гостю табакерку.

– Был там еще Платон, – продолжал его величество, скромно отклоняя табакерку и комплимент, – был там еще Платон, к которому я тоже чувствовал дружеское расположение. Вы знакомы с Платоном, Бон-Бон? – Ах да, виноват. Однажды он встретился со мною в Афинах, в Парфеноне, и признался, что ему смертельно хочется раздобыть идею. Я посоветовал ему написать о *pouz estin auloz*⁴⁵. Он обещал сделать это и пошел домой, а я полетел к пирамидам. Но совесть мучила меня за то, что я сказал истину, хотя бы ради друга. Я вернулся в Афины и явился к философу в ту самую минуту, когда он писал «*auloz*». Толкнув пальцем ламбду (Λ), я опрокинул ее вверх ногами. Вышло «*o pouz estin augoz*»⁴⁶ – положение, ставшее, как вам известно, основной доктриной метафизики.

– Были вы когда-нибудь в Риме? – спросил ресторатор, прикончив вторую бутылку шампанского и доставая из буфета шамбертен. – Только раз, *monsieur* Бон-Бон, только раз. Это случилось, – продолжал дьявол, точно цитируя из книги, – это случилось в эпоху анархии, длившейся пять лет, когда республика, оставшись без должностных лиц, управлялась исключительно трибунами, не облеченными притом исполнительной властью. В это-то время, *monsieur* Бон-Бон, и только в это время я был в Риме, так что не мог познакомиться на земле с философией римлян.

– Что вы думаете... Что вы думаете... уэ!.. об Эпикуре?

– О ком? – с удивлением переспросил дьявол, – неужто вы решитесь в чем-нибудь упрекнуть Эпикура? Что я думаю об Эпикуре? Поймите меня, сударь, – ведь «я» и есть Эпикур! Я тот самый философ, написавший триста трактатов, о которых упоминает Диоген Лаэртций. – Это ложь! – сказал метафизик, которому вино немножко ударило в голову.

– Очень хорошо! Очень хорошо, сударь! Прекрасно, сударь! – отвечал его величество, крайне польщенный.

⁴⁵ Разум есть свирель (*греч.*).

⁴⁶ Разум есть глаз (*греч., неточ.*).

– Это ложь! – повторил авторитетным тоном Бон-Бон, – это – уэ! – ложь!

– Хорошо, хорошо, будь по-вашему! – сказал дьявол миролюбиво, а Бон-Бон, чтобы отметить победу над его величеством, счел своим долгом прикончить вторую бутылку шамбертена.

– Как я уже сказал, – продолжал посетитель, – как я заметил несколько минут тому назад, многое в вашей книге чересчур вычурно, monsieur Бон-Бон. Что вы порете, например, о душе? Скажите, пожалуйста, сударь, что такое душа?

– Душа, – уэ – душа, – ответил метафизик, заглядывая в свою рукопись, – бесспорно...

– Нет, сударь!

– Без сомнения...

– Нет, сударь!

– Неоспоримо...

– Нет, сударь!

– Очевидно...

– Нет, сударь!

– Неопровержимо...

– Нет, сударь!

– Уэ!

– Нет, сударь!

– И вне всяких споров...

– Нет, сударь, душа вовсе не то! (*Тут философ, бросив на собеседника злобный взгляд, поспешил положить конец спору, осушив третью бутылку шамбертена.*)

– В таком случае, – уэ – скажите, пожалуйста, что же, что же такое душа?

– Ни то ни се, monsieur Бон-Бон, – отвечал его величество задумчивым тоном. – Я пробовал, то есть, я хочу сказать, знал очень плохие души и очень недурные. – Тут он причмокнул губами и, машинально схватившись за книжку, высовывавшуюся из кармана, страшно расчихался. Потом продолжал: – Душа Кратинуса была так себе; Аристофана вкусна; Платона превосходна, не вашего Платона, а комического поэта, от вашего Платона стошнило бы Цербера – фа! Затем, позвольте! были там Невий, и Андроник, и Плавт, и Теренций! Были Люцилий, и Катулл, и Назон, и Квинт Флакк, милый Квинтик, как я называл его, когда он потешал меня своими песенками, а я поджаривал его – так, шутки ради – на вилке. Но у этих римлян не хватает букета. Один жирный грек стоит дюжины римлян, к тому же он не скоро портится, чего нельзя сказать о квиритах... Попробуем-ка вашего сотерна.

Между тем Бон-Бон оправился и, порешив *nil admirari* ⁴⁷, достал несколько бутылок сотерна. Он, однако, услышал странный звук: точно кто-то махал хвостом. Философ сделал вид, что не замечает этого крайне неприличного поведения его величества, и ограничился тем, что дал пинка собаке и велел ей лежать смирно. Посетитель продолжал:

– Я нахожу, что Гораций сильно отзывался Аристотелем. Я, знаете, обожаю разнообразие. Теренция я не мог бы отличить от Менандра. Назон, к моему изумлению, оказался тот же Никандр, хотя и под другим соусом. Вергилий напоминал Теокрита, Марциал – Архилоха, а Тит Ливий был положительно вторым Полибием.

– Уэ! – ответил Бон-Бон.

– Но я питаю склонность, monsieur Бон-Бон, я питаю склонность к философам. А с вашего позволения, сударь, не каждый черт, я хочу сказать, не всякий джентльмен сумеет выбрать философа. Длинные нехороши, и самый лучший, если его не облупить хорошенько, отзывается желчью.

– Облупить!

– То есть вынуть из тела.

⁴⁷ Ничему не удивляться (*лат.*).

– А как вы находите, – уэ! – врачей?

– И *не говорите!* Тьфу! Тьфу! (*Его величество вырвало.*) – Я раз только попробовал одного, этого шельму Гиппократ, и вонял же он ассафетидой!.. Я простудился, промывая его в Стиксе, и в конце концов схватил холеру.

– Жалкая – уэ! – тварь, – воскликнул Бон-Бон, – микстурное отродье!

И философ уронил слезу.

– В конце концов, – продолжал посетитель, – в конце концов, если чер... если джентльмен хочет оставаться в живых, ему нужно-таки поработать головой; полное лицо у нас – явный признак дипломатических способностей.

– Как так?

– Видите ли, нам приходится подчас терпеть крайний недостаток в съестных припасах. В нашем знойном климате душа редко остается в живых более двух-трех дней, а после смерти, если не посолить немедленно (соленые же души невкусны), она начинает... припахивать... – понимаете, э? Когда души достаются нам обыкновенным путем, больше всего приходится опасаться гниения.

– Уэ! – уэ! – Боже мой! Как же вы изворачиваетесь?

Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол подскочил на стуле; однако, слегка вздохнув, оправился и только заметил вполголоса нашему герою:

– Послушайте, Пьер Бон-Бон, вы *не должны* употреблять таких выражений!

Хозяин осушил еще стакан в знак согласия и понимания, и посетитель продолжал:

– Изворачиваемся различными способами: иные голодают, иные питаются солеными душами, я же покупаю их живьем, в таких случаях они прекрасно сохраняются.

– А тело! – уэ! – тело!!!

– Тело, тело, – причем же тут тело? – А! – Да! – Понимаю. Извольте видеть, тело *ничуть* не страдает при таких сделках. Я заключил их бесчисленное множество, и никогда продавцы не терпели ни малейшего ущерба. Так было с Каином, Немвродом, Нероном, Калигулой, Дионисием и с тысячами других, которые как нельзя лучше обходились без души значительную часть своей жизни. А ведь эти люди были украшением общества, милостивый государь. Да вот хоть бы наш общий знакомый А. Разве он не владеет замечательными способностями, духовными и физическими? Кто пишет более колкие эпиграммы? Кто рассуждает с таким остроумием? Кто... Но позвольте! Его условие при мне.

Говоря это, гость достал красный кожаный бумажник, в котором оказалась пачка документов. На некоторых из них Бон-Бон заметил начала слов: «Макиа, Маза, Робесп», и слова: «Калигула, Георг, Елизавета». Его величество выбрал из пачки узенький листок пергамента и прочел вслух следующее:

– За некоторые умственные преимущества и тысячу луидоров я, в возрасте одного года и одного месяца, уступаю предъявителю этой расписки все права распоряжения, пользования и владения тенью, которая называется моей душой. Подписано А...

Его величество прочел фамилию, которую я не считаю себя вправе приводить здесь.

– Умный малый, – прибавил он, – но, подобно вам, monsieur Бон-Бон, заблуждался насчет души. Душа – тень, как бы не так! Душа – тень! Ха! ха! ха! Хе! хе! хе! Хо! хо! хо! Подумайте только – фрикасе из тени!

– Подумайте только – уэ! – фрикасе из тени! – воскликнул наш герой, почувствовав, что мыслительные способности значительно увеличились, благодаря глубокомысленным разговорам его величества.

– Подумайте только – уэ! – фрикасе из тени!! Черт побери! – уэ! – ух! – Я не такой – уэ! – олух! *Моя* душа, сударь...

– Ваша душа, monsieur Бон-Бон!

– Да, сударь – уэ! – *моя* душа не...

– Что такое, милостивый государь?
– *Не тень*, черт побери.
– Вы не хотите сказать...
– *Моя душа* – уэ! – будет очень вкусна – уэ!
– Что такое?
– Тушеная.
– Ха!
– Шпикованная.
– Э!
– Рубленая.
– Право?
– В виде рагу или соуса, и знаете ли что, милейший? Я готов вам уступить ее – уэ! – При этом философ шлепнул его величество по спине.
– Не имею ни малейшего желания, – отвечал последний спокойно, вставая со стула. Метафизик выпучил глаза.
– Я уже запасся душами, – сказал его величество.
– Уэ! – э? – сказал философ.
– Да я и не при деньгах.
– Что?
– К тому же было бы некрасиво с моей стороны...
– Милостивый государь!
– Пользоваться...
– Уэ!
– Вашим отвратительным и недостойным порядочного человека состоянием.
Гость поклонился и исчез – каким образом, никто бы не мог объяснить, – но когда хозяин запустил в «проклятого» бутылкой, она задела цепочку, на которой висела лампа, и эта последняя грохнулась на пол, свалив по пути метафизика.

Перевод Б. Энгельгардта



Король Чума

*То боги позволяют венценосцам,
Что их в сословье подлом возмутит.*

Бакхерст. Трагедия о Феррексе и Поррексе

Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царствования третьего из Эдуардов, два матроса из команды «Беззаботной», торговой шхуны, курсирующей между Слуйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе Св. Андрея, что в Лондоне, – каковая пивная в качестве вывески имела изображение «Развеселого матросика».

Комната, неудобная, закопченная, низкая и во всех других смыслах схожая с заведениями подобного рода в те времена, – все же, по мнению гротескных групп, там и сям в ней расположившихся, в достаточной мере отвечала своему назначению.

Из них самую любопытную, а быть может, и самую бросающуюся в глаза компанию составляли, по-моему, два наших матроса.

Тот, кто казался старшим и кого его товарищ называл характерною кличкою «Рангоут», был и самый высокий из двоих. Рост его достигал едва ли не шести с половиною футов, и его постоянная сутулость казалась неизбежным последствием столь чудовищной высоты. Избыток роста, однако, более чем с лихвой искупался изъянами иного рода. Он был чрезвычайно худ и мог бы, как утверждали его товарищи, в пьяном виде служить вымпелом, а в трезвом – буш-притом. Но эти и подобные им шутки, видимо, никогда не оказывали действия ни на единый *musculus risorius* ⁴⁸ матроса. Выражение его лица, скуластого, горбоносого, подуздоватого, с огромными белыми глазами навывкате, хотя и тупо равнодушное ко всему сущему, при этом было столь серьезно, что не поддавалось ни описанию, ни воспроизведению.

Матрос помоложе, если судить по наружности, являл собою полную противоположность своему спутнику. Он был не выше четырех футов. Неуклюжее, коренастое тело поддерживали толстые кривые ноги, а необычно короткие и плотные руки с громадными кулаками болтались по бокам наподобие лап морской черепахи. Поблескивали глубоко посаженные глазки неопределенного цвета. Нос утопал в круглом, пухлом, багровом лице; а толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней с видом самодовольной уверенности, усугублявшимся от привычки их обладателя время от времени облизываться. Он, по всей очевидности, относился к своему товарищу с чувством полууважительным, полускептическим; и порою смотрел ему в лицо, как заходящее алое солнце смотрит снизу вверх на утесы Бен-Невиса.

Многообразны и богаты событиями были в тот вечер скитания достойной пары по окрестным питейным заведениям. Самая обильная казна способна оскудеть, и наши друзья пришли в этот кабаk с пустыми карманами.

В то самое время, когда, собственно, и начинается наше повествование, Рангоут и друг его Хью Брезент сидели посередине зала, положив локти на большой дубовый стол и подперев щеки ладонями. Из-за громадной бутылки «пенного», за которую еще не было заплачено, взирали они на многозначительные слова: «Мела нет», к их изумлению и негодованию начертанные над дверью тем самым минералом, наличие которого надпись пыталась отрицать. Не то чтоб можно было по всей строгости счесть питомцев моря наделенными даром расшифровывать письма – даром, среди простонародья их дней почитаемым немногим менее каба-

⁴⁸ Мышцу смеха (лат.).

листическим, нежели искусство писания, – но, если сказать правду, в самой форме букв был некий перекося – крен в подветренную сторону, – который, по мнению обоих матросов, предвещал долгие шторма; и привел их к решению, если пользоваться аллегорическими словами самого Рангоута, «пустить в ход помпы, поставить паруса и бежать впереди ветра».

Соответственным образом расправившись с остатками эля и запахнув короткие бушлаты, они наконец рванулись на улицу. Хотя Брезент дважды закатывался в камин, приняв его за дверь, все же в конце концов их побег завершился удачей – и половина первого ночи застала наших, готовых на любые проделки, героев бегущими со всех ног по темному переулку к лестнице Св. Андрея и преследуемыми взъяренной хозяйкой «Развеселого матросика».

В эпоху, когда протекало действие нашего богатого событиями повествования, а также на протяжении многих предыдущих и последующих лет, вся Англия, а столица ее в особенности, периодически оглашалась ужасным криком: «Чума!» Город был в огромной мере опустошен – и по тем страшным кварталам, сопредельным Темзе, где среди темных, узких, загаженных переулков, по преданию, родился Демон Чумы, рыскали одни лишь Тревога, Ужас и Суеверие.

Волею короля такие кварталы объявлены были запретными, и нарушать их жуткий покой возбуждалось под страхом смерти. Но ни указ государя, ни огромные барьеры, возведенные у начала улиц, ни перспектива смерти, почти с полной вероятностью настигавшей несчастного, которого никакая беда не в силах была удержать от дерзновенной попытки, – ничто не спасало от еженощных грабежей опустелые и обезлюдившие жилища, очищаемые от всего, сделанного из железа, меди или свинца и способного принести хоть какой-нибудь доход.

Помимо всего прочего, обнаруживалось, как правило, после того как каждую зиму убрали барьеры, что замки, засовы и тайные погреба весьма неудовлетворительно охраняли те обильные запасы вин и крепких напитков, которые их владельцы, боясь риска и хлопот, сопряженных с их перевозкой из лавок в запретных кварталах, решились доверить на время выезда столь ненадежной защите.

Но лишь весьма немногие из перепуганных жителей считали подобные происшествия делом рук человеческих. Духи Чумы, бесы мора, демоны заразы были в то время обычными пугалами; и каждый час рассказывали о них такие леденящие кровь истории, что все запретное скопление домов оказалось окутанным страхом, словно саваном, и часто самого грабителя спугивали ужасы, созданные его собственными преступлениями; и во всем обширном пространстве запретной части города царили мрак, тишина, зараза и смерть.

И один-то из этих ранее упомянутых зловещих барьеров, обозначавших границу запретных зачумленных кварталов, внезапно преградил путь Рангоуту и достойному Хью Брезенту, пробиравшимся по глухому переулку. О возвращении не могло быть и речи, исключалось и промедление, ибо погоня настигала их. Вскрабкаться по грубо сколоченным доскам для заправских моряков было безделицей; и, вдвойне разгоряченные бегом и выпивкой, они не мешкая перемахнули через ограду и, подбадривая себя криками и улюлюканьем, вскоре потерялись в зловонных и запутанных переулках.

Да не будь они пьяны до утраты рассудка, ужас положения, в которое они попали, наверное, остановил бы их нетвердые шаги. В холодном воздухе стоял туман. Булыжники, вывороченные из мостовых, в беспорядке валялись среди густой травы, доходившей до щиколоток. Развалины домов загромождали улицы. Всюду разносилось самое омерзительное и ядовитое зловоние, а тот жуткий свет, что и порою в полночи мерцает во влажной и зараженной атмосфере, позволял увидеть, как лежат в закоулках и тупиках или гниют в лишенных окон строениях трупы многих ночных мародеров, остановленных чумою в самый момент грабежа.

Но ничто видимое или ощущаемое не в силах было удержать людей, храбрых от природы, а тогда в особенности, полных до краев отвагой и «пенным», готовых следовать прямо – насколько позволила бы их валкая походка – прямо в зев Смерти. Вперед, все вперед шествовал хмурый Рангоут, заставляя мрачное безлюдье вновь и вновь отзываться эхом на его вопли,

подобные страшным воинственным кличам индейцев, и вперед, все вперед катился толстяк Брезент, уцепившись за бушлат своего более прыткого товарища и значительно превосходя его самые мощные голосовые усилия, издавая *in basso*⁴⁹ бычий рев во всю силу своих стенторовых легких.

Наконец, они, судя по всему, достигли средоточия заразы. С каждым их шагом или рывком переулки делались все зловоннее и омерзительнее, все уже и запутаннее. То и дело с гниющих крыш над головою низвергались огромные балки и камни, и тяжесть их падения говорила о громадной высоте окрестных домов; требовались немалые усилия для того, чтобы продирались сквозь частые кучи мусора, и совсем нередко рука натыкалась на скелет, а то и на труп, еще облеченный плотью.

Внезапно, когда матросы набрали на вход в высокое и зловещее здание, особо пронзительному крику возбужденного Рангоута ответил изнутри быстрый и нестройный хор бешеных, дьявольских воплей, похожих на смех. Не обескураженные этими звуками, хотя в подобное время и в подобном месте они могли бы остановить сердце, менее разгоряченное, двое пьяных очертя голову рванулись к двери, распахнули ее настежь и ввалились внутрь, шатаясь и изрыгая хулу.

Помещение, куда они попали, оказалось лавкою гробовщика, но сквозь открытый люк в углу недалеко от входа виднелся длинный ряд винных погребов, чья глубь, как свидетельствовал порою звук откупориваемых бутылок, была отменно заполнена надлежащим содержимым.

Посередине комнаты находился стол, в центре же его стоял ушат, видимо, с пуншем. Бутылки разных вин и напитков, а также кувшины, баклаги и сулеи всякого вида и разбора в обилии усаждали стол. Вокруг него на гробовых козлах восседала компания из шести человек. Попытаюсь описать их по порядку.

Лицом ко входу и несколько возвышаясь над своими сотрапезниками, сидел субъект, казавшийся председателем собрания. Он был высок и худ, и Рангоут пришел в изумление, увидев кого-то более тощего, нежели он сам. Лицо этого человека было желто, как шафран, – но лишь одна черта его была настолько яркою, чтобы заслуживать подробного описания. Чертою этою был его лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что он казался беретом или короною из плоти, нахлобученной ему на голову. Рот его был искривлен в пугающе приветливой улыбке, а глаза, как, впрочем, глаза всех присутствующих, остекленели от винных паров. Этот господин от головы до ног был облачен в роскошно вышитый гробовой покров из шелкового бархата, который небрежно драпировался на манер испанского плаща. Он то и дело с бойким и умудренным видом кивал головою, сплошь утыканною черными перьями с плюмажей на катафалке; а в правой руке держал колоссальную человеческую бедренную кость, которой, казалось, он неведомо почему только что огрел кого-то из присутствующих.

Прямо напротив него и спиною к двери находилась дама несколько не менее необычайного вида. Хотя столь же высокая, как только что описанный субъект, она, не в пример ему, не имела никакого права жаловаться на неестественную худобу. По всему, она пребывала в последней стадии водянки; и фигура ее весьма напоминала огромную бочку октябрьского пива, стоявшую рядом с нею в углу. Лицо ее было необычайно полное, красное и круглое; и облик ее отмечала та же особенность или, вернее, тот же недостаток особенностей, что и упомянутый мною ранее применительно к председателю, – а именно то, что лишь одна черта ее лица была в достаточной мере выразительна для детальной характеристики; да и пронизательный Брезент мигом заметил, что подобное замечание было бы справедливо относительно каждого из присутствующих: любой из них как бы монополизировал некую часть лица. У дамы, о которой идет речь, этою частью был рот. Начинаясь у правого уха, он, словно ужасающая пропасть, простирался до левого, и маленькие сережки то и дело в него попадали. Однако она всемерно

⁴⁹ Басом (*um.*).

тилась держать его закрытым и сохранять достоинство, одета же была в свежее-накрахмаленный и отутюженный саван, доходящий ей до подбородка и украшенный брыжами из гофрированного миткаля.

По правую руку от нее сидела крохотная барышня, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальчиков этого нежного создания, ее мертвенно бледные губы, едва заметный румянец на землистом лице – все непрерываемо свидетельствовало о скоротечной чахотке. Тем не менее, ее отличал крайний *haut ton*⁵⁰; грациозная, *dégagée*⁵¹, она была наряжена в просторный и красивый саван из тончайшего индийского батиста; локоны струились по ее шее; нежная улыбка играла на ее устах; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, гибкий и прыщавый, свисал гораздо ниже ее рта и, несмотря на то что она время от времени отодвигала его в сторону языком, придавал ее облику несколько двусмысленное выражение.

Напротив нее и слева от дамы, страдающей водянкою, сидел пухлый, сиплый, подагрический старичок, чьи щеки покоились на плечах своего владельца, как два огромных бурдюка с портвейном. Скрестив руки и положив забинтованную ногу на стол, он словно бы считал себя достойным некоторого уважения. Он, по всей очевидности, гордился каждым дюймом своей наружности, но особенно радовался, привлекая внимание к яркому кафтану. Кафтан этот, говоря по правде, должен был стоить ему немалых денег и сшит был отменно по мерке, а перекроен был из какой-то разноцветной хоругви с вышитым по ней знаменитым гербом – такие хоругви и в Англии, и в других странах, согласно обычаю, вывешивают на домах знатных особ, когда там кто-нибудь опочит.

Рядом с ним и по правую руку от председателя находился господин в длинных белых чулках и коротких бумажных панталонах. Тело его нелепо сотрясалось, ибо на него, как решил Брезент, «ужасти напали». Его недавно выбритые челюсти были натуго соединены муслиновой повязкой; а руки были связаны подобным же образом, что мешало ему вволю угощаться спиртным на столе; предосторожность, по мнению Рангоута, необходимая, ежели судить по его особо ненасытному и запянцовскому виду. Тем не менее, его невиданные уши, которые никак нельзя было привязать, маячили в атмосфере помещения и иногда судорожно настораживались при звуке извлекаемой пробки.

В-шестых и в-последних, напротив него помещался весьма окостеневший субъект, который, будучи разбит параличом, должен был, если говорить серьезно, чувствовать себя весьма неловко в своем неудобном облачении. Облачен же он был довольно-таки необычно, в новый и нарядный гроб из красного дерева. Верхушка гроба давила ему на череп, нависая на манер капюшона и придавая лицу его неопишное своеобразие. По бокам гроба прорезаны были отверстия для рук – столь же ради удобства, сколь и для красоты; но подобное одеяние препятствовало облаченному в него сидеть так же прямо, как его сотрапезники; и он лежал, опираясь о козлы, под углом в сорок пять градусов, а его чудовищно выпученные глаза выкатывали ужасные белки к потолку, в абсолютном изумлении собственной величиною.

Перед присутствующими лежали черепа, служившие пиршественными кубками. Над головою висел человеческий скелет, привязанный веревкою за ногу к кольцу в потолке. Вторая нога, ничем не удерживаемая, торчала под прямым углом, и некрепко связанный скелет со стуком поворачивался по прихоти любого порыва ветра, случайно попадавшего в помещение. В черепной коробке этого мерзкого костяка помещались горячие угли, бросавшие прерывистый, но яркий свет на всю сцену; а гробы и другие похоронные принадлежности были высоко нагромождены по всей комнате и перед окнами, не давая проникнуть на улицу ни единому лучу.

При виде такого необыкновенного сборища и еще более необыкновенного убранства наши матросы не в силах были соблюдать необходимый декорум. Рангоут облокотился о стену,

⁵⁰ Светский тон, светские манеры (*фр.*).

⁵¹ Непринужденная (*фр.*).

челюсть его отвалилась более обычного, а глаза выпучились до отказа; а Хью Брезент, согнувшись, коснулся носом стола, охватил колени и разразился долгим, буйным и громким смехом, весьма несвоевременным и неумеренным.

Но длинный председатель, не возмущаясь таким крайне грубым поведением, очень милостиво улыбнулся незванным гостям – величаво кивнул им черными перьями – и, встав, взял каждого из них за руку и отвел к сиденьям, тем временем поставленным для пришедших кем-то из компании. Рангоут не оказал ни малейшего сопротивления, но уселся, как ему указывали; а кавалерственный Хью перенес свои козлы с места в головах стола поближе к маленькой чахоточной барышне в саване, превесело плюхнулся рядом с нею и, налив череп красного вина, залпом осушил его за продолжение знакомства. Окостеневший господин в гробу, казалось, был крайне возмущен таким дерзким поведением; и могли бы возникнуть серьезные последствия, но председатель, постучав по столу, привлек внимание всех присутствующих следующей речью:

– Наш приятный долг при настоящем, столь счастливом событии...

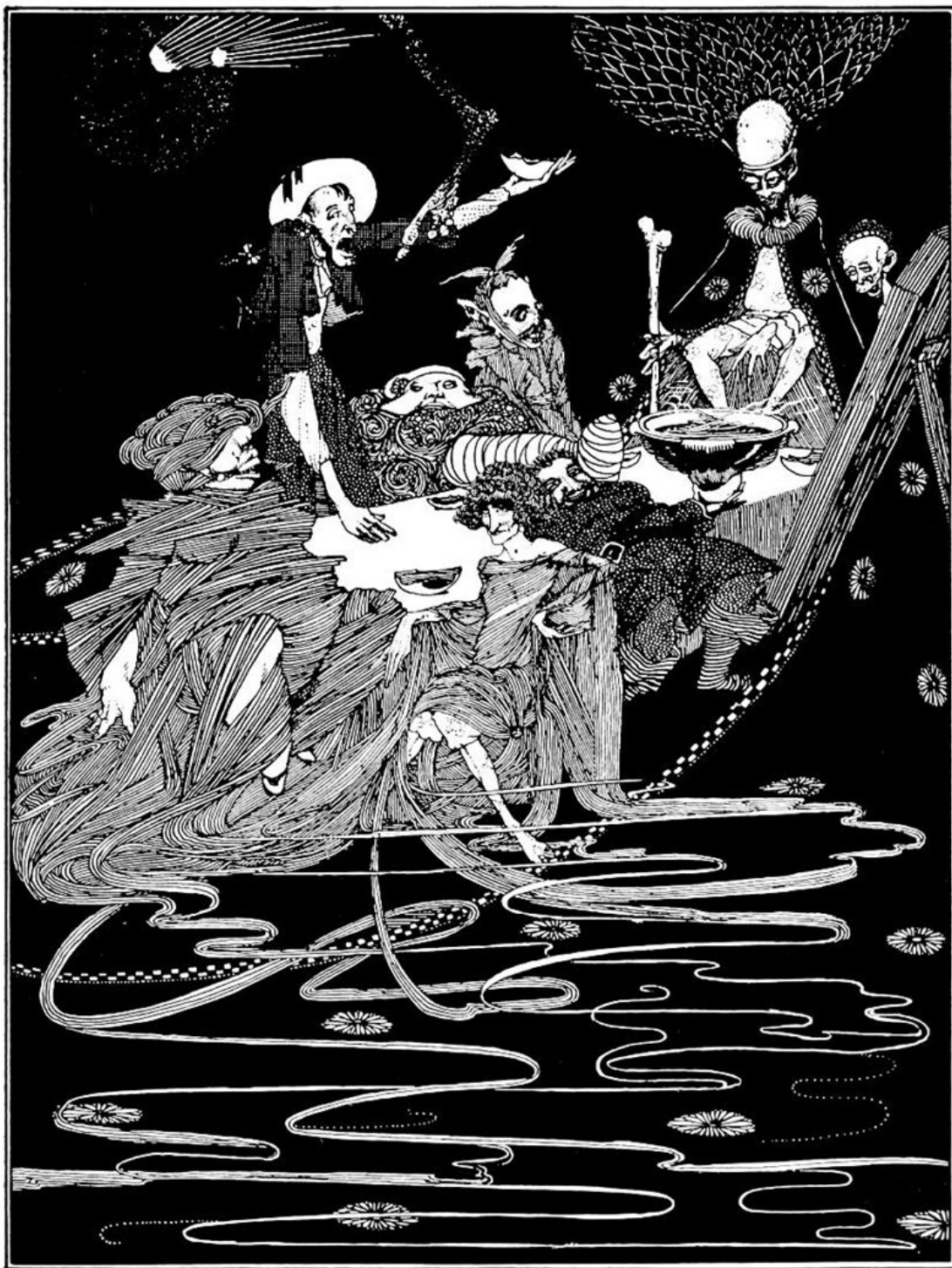
– Тихо! – с очень серьезным видом перебил Рангоут. – Погодите-ка минуточку да скажите нам, кто вы такие есть, да какого черта вам здесь надобно, что разрядились вы по-бесовски да хлещете синюю погибель, которую припас на зиму мой корабельный дружок, гробовщик Вилл Вимбл!

В ответ на эту непростительно грубую выходку вся компания стала подниматься с мест и издавать те же бешеные, дьявольские вопли, что ранее привлекли матросов. Но председатель сдержался первым и, с превеликим достоинством повернувшись к Рангоуту, продолжал:

– Весьма охотно удовлетворим мы всякое проявление разумного любопытства со стороны столь высоких, хотя и неприглашенных гостей. Знайте же, что я монарх сих владений и самодержавно здесь царствую под титулом «Король Чума Первый».

Этот покой, который вы несомненно и кошунственно сочли за лавку гробовщика Вилла Вимбла, человека, нам неведомого, чье плебейское наименование ни разу доныне не отягало наш августейший слух, – этот покой, говорю я, является тронным залом нашего дворца и отведен для заседаний государственного совета и для иных возвышенных целей.

Благородная дама, сидящая напротив, – наша миропомазанная супруга, королева Чума. Другие высокопоставленные особы, лицезреть коих вы удостоились, все принадлежат к нашей фамилии, и их королевская кровь явствует из носимых ими титулов: его высочество эрцгерцог Чумоносный – его высочество герцог Чумовой – его высочество герцог Чумазый – и ее светлость эрцгерцогиня Чумичка.



«Погодите-ка минуточку да скажите нам, кто вы такие есть, да какого черта вам здесь надобно!..»

— Что до вашего вопроса о деле, ради которого мы держим здесь совет, — продолжал он, — да простится нам, ежели мы ответим, что оно касается только наших личных и августейших интересов и ни в коей мере не любопытно ни для кого, кроме нас самих. Но, принимая во внимание те права, на которые вы как гости и пришельцы можете претендовать, мы поясним вам, что сею ночью мы собрались тут, дабы путем глубоких исследований и подробных изучений рассмотреть, проанализировать и до конца определить не поддающийся уточнению характер — непостижимые качества и букет — оных бесценных сокровищ для вкуса, вин, элей и крепких

напитков сей славной столицы; и этим не столько осуществить наши желания, сколько обеспечить истинное благосостояние того неземного государя, что правит всеми нами, владения которого беспредельны, а имя которому – Смерть.

– А имя которому – Деви Джонс! – воскликнул Брезент, наливая и своей даме, и себе по черепу вина.

– Нечестивый смерд! – сказал председатель, обращая внимание на достойного Хью. – Нечестивый и подлый холоп! Мы сказали, что, принимая во внимание те права, кои даже применительно к твоей подлой особе мы не желаем нарушать, мы снизошли до ответа на твои невежественные и неразумные расспросы. За ваше кощунственное вторжение в наш совет мы почитаем нашим долгом приговорить тебя и твоего спутника к штрафу, взимаемому путем выпивания каждым из вас по галлону черного жгута, – выпив какое-то количество за процветание нашего королевства – и залпом – и преклонив колена, – вы будете вольны или отправиться восвояси, или остаться и удостоиться чести быть допущенными к нашему столу, в соответствии с тем, как кому из вас заблагорассудится.

– Никак этого не будет, – отвечал Рангоут, которому достоинство и властность Короля Чумы, несомненно, внушили известную почтительность, почему он встал и старался не шататься, пока говорил, – ежели вашему величеству угодно, то никак этого не будет, чтобы я да погрузил себе в трюм хотя бы четвертую часть того, что ваше величество только что изволили упомянуть. Не говоря ничего о грузе, что я утром принял на борт в виде балласта, и не упоминая всякие разные эли да водки, погруженные этим вечером в разных гаванях, я в настоящее время полон до отказа «пенным», принятым и сполна оплаченным под вывеской «Развеселого матросика». А поэтому да будет вашему величеству благоугодно считать желаемое сделанным – потому как я никоим образом не могу и не хочу проглотить хотя бы еще капельку, – а менее всего хотя бы капельку того вонючего пойла, которое называется черным жгутом.

– Стоп! – перебил Брезент, изумленный длительностью речи своего спутника не менее, нежели причиною его отказа. – Стоп травить, Рангоут, салага ты этакая! Мои трюма еще вмещают, а вот ты, видать, малость перегружен; а касательно твоей доли, то чем тебе из-за нее шквал подымать, то уж лучше я у себя в трюме найду ей местечко, но...

– Подобное действие, – вмешался председатель, – отнюдь не соответствует условиям пени или приговора, распространяемого на обоих равномерно и, подобно установленному закону, ни в коей мере не подлежащего изменению или пересмотру. Оговоренные условия должны быть выполнены в точности и без малейшего промедления – в противном случае, мы повелеваем привязать вам шею к пяткам и надлежащим образом утопить за крамолу вон в той бочке октябрьского пива!

– Правильно! – правильно! – справедливый и правильный приговор! – достославное решение! – достойный, правильный, благочестивый суд! – разом закричала чумная фамилия. Король поднял брови, отчего лоб его покрылся бесчисленными морщинами; подагрический старичок засопел наподобие кузнечных мехов; чахоточная барышня помахала носом; господин в бумажных панталонах наострил уши; дама в саване принялась ловить ртом воздух, как издыхающая рыба; а обитатель гроба еще более окостенел и завел глаза.

– Хе! хе! хе! – засмеялся Брезент, пренебрегая всеобщим волнением. – Хе! хе! хе! – хе! хе! хе! хе! хе! хе! – я говорил, – сказал он, – я говорил, пока мистер Король Чума не начал вступать, что двумя-тремя галлонами черного жгута больше или меньше для такого крепкого суденышка с неперегруженными трюмами вроде меня – пустяк, но ежели дело дошло до того, чтобы пить здоровье Дьявола (накажи его господь) да ползать на коленях перед этим королишкой – а ведь доподлинно, как то, что я грешник, я про него знаю, что он не кто иной, как Тим Баламут, актершик! – так это дело совсем другого сорта и вовсе свыше моего разумения.

Ему не дали спокойно договорить. При имени Тима Баламута все повскакали с мест.

– Измена! – закричал его величество Король Чума Первый.

- Измена! – сказал подагрический человечек.
- Измена! – завопила эрцгерцогиня Чумичка.
- Измена! – пробормотал господин с подвязанной челюстью.
- Измена! – пробурчал обитатель гроба.

– Измена! измена! – заверещала ее большеротое величество; и, схватив сзади за штаны несчастного Брезента, который только начал наливать себе еще, она подняла его высоко в воздух и без лишних церемоний бросила в огромную разверстую бочку любимого им эля. Несколько секунд он то всплывал, то погружался, как яблоко в пуншевой кастрюле, и наконец исчез в водовороте пены, которую ему легко удалось поднять барахтаясь в напитке, и без того пенном.

Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный – такой бешеный – такой напористый, – что комнату затопило от стены до стены – нагруженные столы перевернулись – козлы попадали – ушат с пуншем был повергнут в камин – а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги смаху налетали на битые бутылки. Страдавший «ужастями» моментально утонул – окостеневший господин отплыл в своем гробу – победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и напрямик пустился к «Беззаботной», а за ним на всех парусах следовал бесстрашный Хью Брезент, который два-три раза чихнул, а теперь пыхтел и задыхался, волоча за собою эрцгерцогиню Чумичку.

Перевод В.Рогова

Метценгерштейн

*Pestis eram vivus – moriens tua mors ero*⁵².

Мартин Лютер

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер обо всех наших несчастьях, вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoir etre seule»⁵³. Учение о метемпсихозе решительно поддерживает Мерсье в «L'an deux mille quatre cent...»

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они – венгры – весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проникательного и умного парижанина), *ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un homme mene, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux*»⁵⁴.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское величие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло – если оно вообще предрекало что бы то ни было – окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга.

⁵² При жизни был для тебя чумой – умирая, буду твоей смертью (*лат.*).

⁵³ Происходит оттого, что человек не может быть наедине с собой (*фр.*).

⁵⁴ Лишь однажды вселяется в разумную оболочку; во всех остальных воплощениях – в лошади, в собаке, даже в человеке – она остается почти совершенно им чужда (*фр.*).

Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет – срок не долгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг; и вся округа единодушно присовокупила этот поджог и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностай епископы и кардиналы, как равные, сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны – их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами, а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расшвиравшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очер-

таниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

– Чей конь? Откуда он у вас? – хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное – двойник загадочного коня на гобелене.

– Конь ваш, ваша светлость, – отвечал один из конюших, – по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

– И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, – вмешался второй конюший. – Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все, как один, уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали. – Очень странно! – в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. – Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, – прибавил он, помолчав. – Быть может, Фредерик Метцен-герштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

– Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

– В самом деле, – сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

– Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? – спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

– Нет! – отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. – Умер, вы говорите?

– Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

– Какою смертью он умер?

– Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

– Вот так! – промолвил барон, словно бы не вдруг освоившись с мыслью, сильно его взволновавшей.

– Вот так, – подтвердил вассал.

– Ужасно! – хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий

конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?»

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не придет», – надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, – они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возмнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло,

по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи празднично стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение – и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение – и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

Перевод Р. Облонской



Тишина

*Горные вершины дремлют;
В долинах, утесах и пещерах тишина.*

Алкман

– Внемли мне, – молвил Демон, возлагая мне руку на голову. – Край, о котором я повествую, – унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры, и нет там ни покоя, ни тишины.

Воды реки болезненно-шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям – ужасный, темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колыхнется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, падают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекачатся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову – и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок, – и утес был сер. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровей засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена, и письмена гласили: запустение.

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу Древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны – но лик его был ликом божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенную желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы слышали мой зов и пришли с бегомотом к подножью утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я при-

таился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури – и дождь бил по голове человека – и река вышла из берегов – и воды ее вспенились от мучений – и водяные лилии пронзительно кричали – и деревья рушились под натиском ветра – и перекачивался гром – и низвергалась молния – и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.



«Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письма на утесе были: тишина...»

Тогда я разгневался и проклял проклятием *тишины* реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и *затихли*. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе, и гром заглох, и молния не сверкала, и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли, и деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письма утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: тишина.

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письма на утесе были: тишина. И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел.

* * *

Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов, в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе, и о Земле, и о могучем море, и о Джиннах, что завладели морем, и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвою, трепетавшей вокруг Додоны, но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо.

Перевод В.Рогова



Низвержение в Мальстрем

Пути Господни в Природе и в Промысле его не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца.

Джозеф Гленвилл

Мы наконец взобрались на вершину самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения.

– Еще не так давно, – наконец промолвил он, – я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и, уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я *глубокий* старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, – этот маленький утес поднимался над пропастью, прямой, отвесной глянцеви́то-черной каменной глыбой футов на полтора-два выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. При-знаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

– Будет вам чудить, – сказал мой проводник, – ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

– Мы сейчас находимся, – продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, – над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше – держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, – и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось *Mare Tenebrarum*⁵⁵ в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, далеко, насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных чудовищно черных нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы уга-

⁵⁵ Море Мрака (лат.).

дывали этот островок по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны – и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

– Вот тот дальний островок, – продолжал старик, – зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, – Моске. Там, на милю к северу, – Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Бургом, – Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое несло на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно – совсем неожиданно – он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем – не то воплем, не то ревом, – какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

– Это, конечно, и есть, – прошептал я, обращаясь к старику, – великий водоворот Мальстрем?

– Так его иногда называют, – отозвался старик. – Мы, норвежцы, называем его Москестрем – по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего

представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, – во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, – говорит он, – глубина океана доходит до тридцати шестисорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов, и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепы на них торчат как щетина. Это несомненно указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в Вербное воскресенье, он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то малоправдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Фере, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взмывают вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, в каком-нибудь очень отдаленном месте, например, в Ботническом заливе,

как утверждают. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

– Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот, – сказал старик. – Так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

– Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако из всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промысливать к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже к югу, где можно безо всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают охотиться там. Но здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того, что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штита – явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не подошли с голоду, потому что едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм, и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений – их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, – и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема, хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях – и на веслах, да и во время лова, – но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля тысяча восемьсот... года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем – два моих брата и я – пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсегена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута – небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынырнуло из волн. Я был точно в столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообщить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-

единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье, – подумал я. – Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью – но, боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так, что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои судорожно сомкнулись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном вое – представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав

себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно – погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана – он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, – так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, сдвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой – я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние

лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.



«Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну...»

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Внезапно открывшееся мне грозное величие – вот все, что я видел. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря

– палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов – разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клочкущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, – и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт – неизменной ошибочности моих догадок – натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие *надежды*. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепы на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же – потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине – опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я

несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов – «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой ⁵⁶.

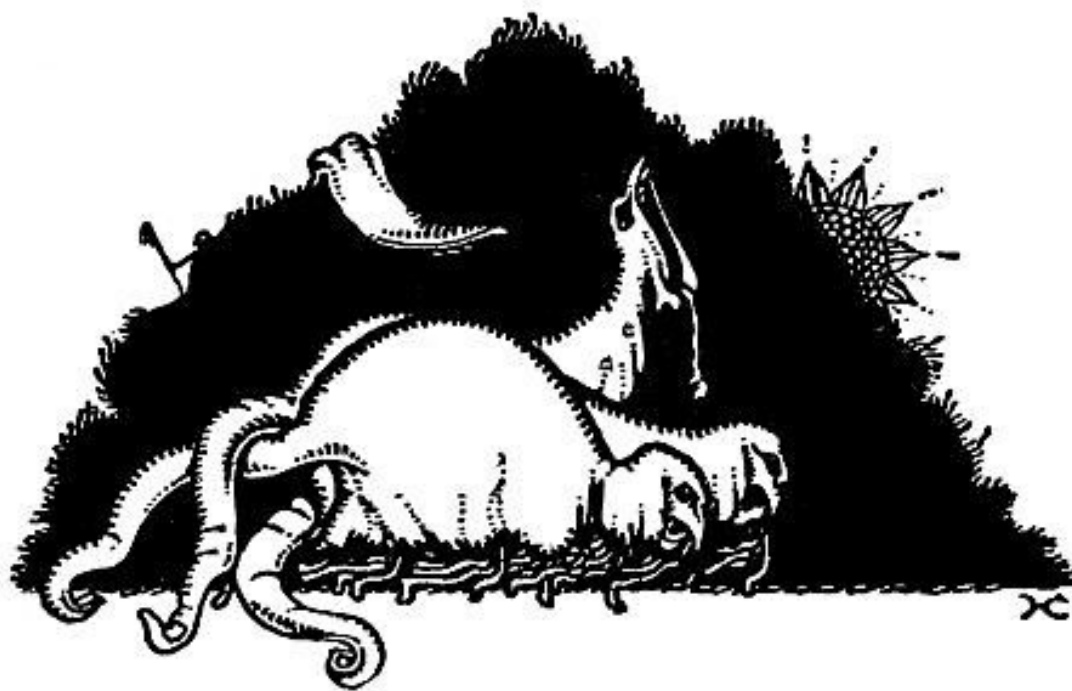
Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но – так это было или нет – он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего милого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрала мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

Перевод М. Богословской

⁵⁶ Архимед. О плавающих предметах, II.



Лигейя

И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.
Джозеф Гленвилл

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом – Лигейя! – воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что *я никогда не знал* родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов – возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз – исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет⁵⁷ идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незбылемо. Это – *облик* Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле – даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез – эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантазмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса⁵⁸. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «*Всякая утонченная красота, – утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, – всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность*»⁵⁹. И

⁵⁷ Богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия – Ашторет (Астарта), которую почитали и в Египте. Астарта упоминается в стихотворении По «Улялюм».

⁵⁸ Согласно греческой мифологии, на острове Делос родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.

⁵⁹ «Всякая утонченная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность», – слова Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «О красоте» (1625). У Бэкона не «утонченная красота», а «совершенная красота».

все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «утонченна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба – он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос – такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного – великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков – те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену ⁶⁰, сыну афинянина. И тогда я обрастал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад ⁶¹. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного – красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеяли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске – ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита ⁶², которое таилось в зрачках моей возлюбленной? *Что там скрывалось?* Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой ⁶³, и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлечший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну

⁶⁰ Это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.

⁶¹ Имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766), матери известного драматурга.

⁶² Имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460–370 гг. до н. э.) высказывание «Истина обитает на дне колодца».

⁶³ Две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Полидевка – согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.

смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, – и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна – звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры ⁶⁴), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струйных инструментов и нередко – строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью – как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она – внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя – с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи – поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы – во всяком случае, известные мне самому, – она тоже знала безупречно.

Да и довелось ли мне *хотя бы единый раз* обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала – пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, – что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая

⁶⁴ Имеется в виду звезда Бега в созвездии Лиры. Двойная звезда этого созвездия известна под именем Эпсилон Лиры.

обещала привести меня к цели – к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной!

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии ⁶⁵, в которую мы были погружены. Лишенные живого творного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, – и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом ⁶⁶. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно.

Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса – но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни – только к жизни! – и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише – и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я замороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

⁶⁵ Движение философского идеализма в Америке XIX в. По считал эту философию наивной.

⁶⁶ В мусульманской мифологии ангел смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.